

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

**А.А.КАРА-МУРЗА**

**ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ  
В АМАЛЬФИ**

Москва  
Альтекс  
2012

УДК 617(47+57)(092)  
ББК 54.5г  
К21

*Издание  
осуществлено при финансовой поддержке  
Национального фонда  
«Русское либеральное наследие»*

К21 **Кара-Мурза А.А.** Знаменитые русские в Амальфи. – М. : ООО «ПКЦ Альтекс», 2012. – 142 с.

ISBN 978-5-93121-323-1

В книге известного историка русской общественной мысли, доктора философских наук Алексея Кара-Мурзы собраны уникальные материалы о пребывании на Амальфитанском побережье Италии известных деятелей русской культуры XVII–XX вв. – Бориса Шереметева, Петра Толстого, Сильвестра Щедрина, Василия Жуковского, Петра Вяземского, Федора Буслаева, Ивана Айвазовского, Андрея Муравьева, Владимира Яковлева, Ивана Аксакова, Бориса Чичерина, Павла Муратова, Ивана Бунина, Владимира Набокова.

Обложка  
**Василия Кара-Мурзы**

ISBN 978-5-93121-323-1

© Кара-Мурза А.А., 2012

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	4
Борис Петрович Шереметев .....	7
Петр Андреевич Толстой .....	17
Сильвестр Феодосиевич Щедрин .....	21
Василий Андреевич Жуковский .....	38
Петр Андреевич Вяземский .....	42
Федор Иванович Буслаев .....	46
Иван Константинович Айвазовский .....	57
Андрей Николаевич Муравьев .....	65
Владимир Дмитриевич Яковлев .....	77
Иван Сергеевич Аксаков .....	96
Борис Николаевич Чичерин .....	104
Павел Павлович Муратов .....	113
Иван Алексеевич Бунин .....	135
Владимир Владимирович Набоков .....	139

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории русских путешествий в Италию Амальфитанское побережье занимает особое место. При всей феноменальной красоте и легендарной заманчивости этого края, сюда долгое время было, по сути, лишь два пути – и оба непростые. Либо на ослах или мулах от Соррентийского берега через горный перевал на берег Салернского залива, либо опять-таки от Сорренто, но уже на лодке, огибая полуостров. Случалось так, что путешественник, оказавшийся в Амальфи, при внезапном изменении погоды был просто-напросто отрезан на несколько дней (а то и недель) от внешнего мира: так случилось, например, с художником Сильвестром Щедриным осенью 1825 г.

Чреват внезапной опасностью был и морской путь (большую часть года вполне благостный): читатель этой книги узнает, например, как Петр Толстой в 1698 г. или Федор Буслаев в 1840 г. попали между Амальфи и Неаполем в сильнейший шторм и мысленно уже прощались с жизнью.

Русские путешественники XIX–XX вв., которым все-таки посчастливилось добраться до Амальфи, лежащего в стороне от «классических» итальянских маршрутов, изумлялись: как на таком небольшом кусочке даже не земли, а скалы, почти вертикально обрывающейся в море, могло некогда существовать богатое и могущественное государство и проживать до пятидесяти тысяч человек?

Интересно, что в 1920-х гг. Амальфи мог стать в русской культуре тем, чем стал тогда «горьковский Сорренто». Ведь именно в сказочном по красоте Амальфи Максим Горький мечтал снять виллу для постоянного проживания в Италии. Так бы и случилось, если бы не Владислав Ходасевич, отговоривший друга от приобретения дома на скале, нависшей над самым обрывом. Писатель, как известно, снял в конце концов виллу «Сорито» на южной окраине Сорренто, ставшую на годы местом культурного притяжения как для советской литературно-художественной элиты (которую выпускали из СССР только и именно «к Горькому»), так и для части русской эмиграции.

Не стал Амальфи и аналогом «русского Позитано» (включая расположенные напротив в море островки Ли Галли), где, совсем недалеко от Амальфи, облюбовала себе уголок русская культурная богема: сначала экстравагантный литератор Миша Семенов, в след за ним Леонид Мясин, Сергей Дягилев, Игорь Стравинский, Вацлав Нижинский, Серж Лифарь, Рудольф Нуриев.

Автор этой книги уже выпустил четыре тома на тему о «русских в Италии»: «Знаменитые русские о Риме», «Знаменитые русские о Флоренции», «Знаменитые русские о Венеции», «Знаменитые русские о Неаполе» (они вышли в московском издательстве «Независимая газета» в 2001–2002 гг.). В 2005 г. все четыре тома в переработанном виде были переведены на итальянский язык и с новыми иллюстрациями вышли в римском издательстве

«Сандро Тети едиторе»; их первая презентация состоялась в апреле 2005 г. в залах Фонда Чини на острове Сан-Джорджо в Венеции.

В книге о «русских в Амальфи» читатель найдет новые имена, о которых не шла речь в предыдущих изданиях: дипломата Бориса Шереметева, литератора Василия Жуковского, публициста Ивана Аксакова, философа и правоведа Бориса Чичерина, православного историка Андрея Муравьева, писателя Владимира Набокова.

Амальфитанские сюжеты позволят по-новому взглянуть и на имена, уже знакомые читателям «итальянской серии»: дипломата Петра Толстого, литераторов Петра Вяземского и Владимира Яковлева, филолога Федора Буслаева, художников Сильвестра Щедрина и Ивана Айвазовского, искусствоведа Павла Муратова, писателя Ивана Бунина.

Автор искренне благодарен Директору Центра изучения амальфитанской культуры и истории Джузеппе Кобальто и российскому историку Михаилу Талалаю, представителю Института всеобщей истории Российской Академии наук в Италии, за возможность принять участие в новом российско-итальянском межкультурном проекте.

И, конечно, спасибо городу Амальфи, который своей богатой историей и неизбывной природной красотой позволил продолжить важную для отечественной культуры тему о «русских в Италии».

**Алексей Кара-Мурза,**  
сентябрь 2012 г.

## **БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ**

Шереметев Борис Петрович (25.04.1852, Москва – 17.02.1719, Москва) – военачальник, дипломат, близкий сподвижник Петра I. Генерал-фельдмаршал (1701); граф (1706). Выходец из древнего боярского рода. Начинал службу при царе Алексее Михайловиче: в 1765 г. пожалован в комнатные стольники. В 19 лет в должности воеводы и тамбовского наместника командовал войсками против крымчаков. При царе Федоре Алексеевиче был еще более приближен: «в рассуждении своего преимущественно красивого вида и внешних качеств тела, стоял на аудиенциях, дарованных послам, в одеянии рынды перед тронем». В 1682 г. при вступлении на престол царей Иоанна и Петра пожалован в боярство. С конца 1686 г. руководил войском, охранявшим южные границы, участвовал в Крымских походах. После падения правительницы Софьи примкнул к царю Петру Алексеевичу; участник Азовских походов (1695–1696).

В 1697–1698 гг. по заданию Петра I 45-летний Шереметев совершил важную дипломатическую поездку в государства Европы: Польское королевство, Священную Римскую империю, Венецианскую республику, Папское государство, Неаполь и Мальтийский орден. В свиту Шереметева входили: Алексей Курбатов, «дворецкий», иногда представлявший от имени и под видом Ше-

реметева (позднее выдвинувшийся как крупный российский администратор и финансист); Иосиф Пешковский, духовный чин, занимавшийся переводами и составлением официальных бумаг; Герасим Головцын, близкий к Шереметеву по военным походам; еще несколько дворян и слуг. Позднее, на основании записей Головцына и Курбатова, дьякон Петр Артемьев составил официальные материалы поездки, ставшие известными как «Записка путешествия графа Шереметева».

«Посольство» выехало из Москвы 22 июля 1697 г. с бумагами от Петра I к польскому королю, австрийскому императору, римскому папе, дожу Венеции и великому магистру Мальтийского ордена для создания коалиции против турок. Для достижения политических целей посланец русского царя неоднократно прибегал к хитростям и мистификациям. В Польше, где профранцузская партия не признавала власти русского ставленника короля Августа II, Шереметев, как следует из бумаг, принужден был скрывать свое имя, назвался русским «ротмистром Романом», переменял платье, имел общий стол со свитой, в то время как Курбатов представлял первое лицо. В начале февраля Шереметев тайно, переодевшись в чужое платье, ездил вперед посольства в Венецию, чтобы провести конфиденциальные переговоры, а заодно без формальностей поучаствовать в карнавале. Здесь к русской делегации присоединились находившиеся в Венеции по заданию Петра I младшие братья Бориса Петровича – Василий и Владимир.

21 марта 1698 г. русская делегация прибыла в Рим, где папа Иннокентий XII оказал Шереметеву редкую честь: «не велел отбирать у него шпаги и шляпы при входе в аудиенц-залу, принял сам из рук его привезенные им грамоты, выхвалял мужественные его подвиги против неприятелей Святого Креста и допустил к своей руке, а сам поцеловал его в голову». На другой день Шереметев, в свою очередь, «препроводил к Первосвятителю соболье одеяло в девятьсот рублей, две драгоценные парчи и пять сороков горностаев». Перед выездом русских из Рима, Иннокентий прислал Шереметеву золотой крест, вмещавший частицу дерева животворящего Креста Господня, и приказал извиниться, что «не может, по причине болезни, лично вручить ему это победоносное знамение».

Далее Шереметев со свитой, через Террачину и Капую, продолжили путь на Неаполь: «в семи колясках, две фуры с мехами, да два воза под рухлядь». 8 апреля, в день прибытия в Неаполь, была сделана запись в дневнике путешествия: «От одного города с десять миль стоит гора превеликая, называемая Везувия, которая непрестанно горит, и в день огонь видно; вверху оной горы весьма превеликий огонь исходит с великим шумом, так что в большой страх приводит человека».

Подготовившись в Неаполе к трудному переходу на Мальту через Сицилию, путешественники отправились далее морем: «Апреля 12 дня во вторник шестые недели великого Поста поехали из Неаполя до Мальты морем, наняв две фелюки, на ко-

торых фелюках по осьми гребцов, девятый кормщик, а дано до острова Сицилии до города Мессины с обеих фелюк пятьдесят червонных». Учитывая возможность нападения пиратов, Шереметев с братьями и ближней свитой плыл во второй лодке, отправляя первую вперед для разведки.

13 апреля корабли Шереметева бросили якоря в бухте Амальфи. Составители «Записки» отметили в тот день: «Обедали и ночевали в городе Амальфи Неаполитанского Государства, для того что была того дня на море погода великая и неспособная... В том городе лежат в церкви мощи св. Апостола Андрея Первозванного, привезены из Царя-Града некоторым Кардиналом лет с четыреста, лежат те мощи под престолом, а из гроба того исходит миро каплями поверх гроба, а паче де много исходит в день памяти его. Каноники той церкви дали Боярину <Шереметеву> малой сосуд, наполненный тем святым миром».

Недалеко от берегов Сицилии корабли Шереметева были встречены эскадрой из семи мальтийских кораблей, высланных навстречу русскому гостю Великим магистром Мальтийского ордена Раймундом Переллосом-Рокафуллом. 2 мая 1698 г. Шереметев был торжественно встречен в Валетте: «Великий магистр прислал к Шереметеву своего трубача, приказав последнему трубить у знаменитого путешественника перед обеденным столом и вечерним». 4 мая Шереметев имел аудиенцию у Великого магистра: «Рокафулл вышел к нему и повел в приемную. Шереметев произнес

речь, сначала стоя, когда говорил титул царский (в которое время и великий магистр стоял, сняв шляпу), потом, сидя в креслах под балдахинном против великого магистра. Последний поцеловал подпись царскую на грамоте; благодарил Шереметева за посещение; изъявил радость, что видит в отечестве своем столь знаменитого мужа». На следующий день Шереметев отправил к Великому магистру подарки «из разных мехов и парчей» и щедро одарил «главных кавалеров» Мальтийского ордена. 9 мая он был приглашен к обеденному столу Великого магистра, который «возложил на него алмазный Мальтийский командорственный крест, обнял Шереметева три раза и вверил ему, согласно изъявленному желанию, начальство над двумя галерами, долженствовавшими выступить против турок».

10 мая 1668 г. Шереметев отправился в обратный путь. Миновав Мессину на Сицилии, его корабли не без приключений прошли вдоль берега Калабрии и 20 мая остановились у мыса Ликоза между Салерно и Амальфи: «Мая 20 числа переехали греблюю только 18 миль, а за непогодю обедали и ночевали в корчме Ликоза. Тут башня великая и всегдашний на ней караул, против которой башни небольшой островок, и у того острова хотели мы ночевать для тихости от погоды в фелюках; но стоять нам тут не велели, из той башни стреляли, чтоб отъехали прочь, и говорили, что де у того порта многократно бывают турки». На следующий день корабли Шереметева пристали к бе-

регу в Амальфи: «Мая 21 дня перебежали канал 50 миль, ночевали в городе Амальфи, где мощи Святого Апостола Андрея».

22 мая русская делегация прибыла в Неаполь, откуда Шереметев ездил потом на побережье Адриатики в Бари на поклонение святым мощам Святителя Николая Чудотворца. 4 июня он вновь был в Неаполе, жители которого были напуганы сильным извержением Везувия: «Грозный вулкан, с ужасным гулом, треском и страшными громовыми ударами, выбрасывал раскаленные камни на три или четыре мили; огненная лава поглощала окрестные жилища; изранено, погибло множество людей; до тридцати тысяч бежало в Неаполь; в оба дня нельзя было ходить по улицам, покрытым пеплом более, нежели на четверть аршина; на третий, после церковного хода, сильный дождь утушил ночью пламя и спокойствие в городе восстановилось».

11 июня 1698 г. Шереметев снова был в Риме, виделся с Папою, у которого получил ответные грамоты русскому царю и австрийскому императору Леопольду. Затем побывал во Флоренции, где встречался с Великим герцогом Тосканским Козимо III. 30 июня Шереметев прибыл через Болонью в Венецию, где собралось к тому времени немало русских в ожидании царя Петра Алексеевича, путешествовавшего тогда по Европе.

Как известно, Петр I был решительно настроен посетить Венецию во время своего первого заграничного путешествия (в первую очередь, ради

осмотра знаменитейшей в Европе верфи – Арсенала). Находясь летом 1698 г. в Вене, Петр заранее известил правительство венецианского дожа о своем предполагаемом приезде в Венецию, где планировал пробыть около двух недель вместе с Меншиковым и несколькими сопровождающими. Правительство «Светлейшей Республики» приняло все меры для достойной встречи молодого «царя московитов»: гостю предполагалось отвести Палаццо Фоскари на Большом Канале и, кроме того, летнюю виллу «Парадизо» на территории Арсенала. Программа в Венеции, в соответствии с известными интересами Петра, включала осмотр строящихся судов и присутствие при литье пушек. Планировались также различные праздники и увеселения: кулачные бои, состязания гондол, опера, маскарад, а также официальный бал в зале Большого Совета во Дворце Дожей. Узнав обо всех этих приготовлениях, Петр уведомил венецианского посла в Вене, что предпочел бы посетить Венецию инкогнито – по паспорту на имя «волонтера Меншикова» (этот паспорт для «signore Alessandro Minshikof» сохранился среди документов посольства). Разочарованное правительство дожа отменило все приготовления; пять московитов, выехавших в Венецию для подготовки к визиту, были выселены из Палаццо Фоскари и переселены в обычные гостиницы, где им пришлось самим оплачивать свое пребывание.

Однако незадолго до предполагаемого выезда из Вены в Венецию Петр получил известие о стре-

лецком бунте в Москве и, согласно официальной версии, спешно выехал в Россию. Между тем найденные не так давно С. Андросовым в венецианских архивах документы намечают контуры принципиально иной версии событий...

Царь Петр Алексеевич путешествовал тогда по Европе как частное лицо в составе московского «Великого посольства» под руководством Франца Лефорта, Федора Головина и дьяка Прокофия Возницына. Тем не менее, даже путешествуя полуинкогнито, Петр не избегал встреч с августейшими особами: в июне-июле 1698 г. он провел в Вене несколько бесед с императором Леопольдом I и канцлером графом Кинским, обсуждая возможности русско-австрийского союза против Турции. 15 июля Петр официально простился с австрийским императором, однако, согласно некоторым австрийским источникам (на которых и была основана «старая версия»), оставался в Вене до 28 июля, когда Петра якобы видели на одном из пиров «прислуживавшим за столом» главе русского посольства Лефорту. Эта версия и раньше вызывала сомнения: хотя царь и считался частной персоной, он вряд ли мог участвовать в пиршестве в роли слуги. Скорее всего, австрийский хронист ошибся, спутав царя с кем-то из его сопровождающих, а, может быть, именно на эту ошибку и рассчитывал Петр, которого тогда в Вене уже *не было*. Ибо, выполнив в Вене все дипломатические формальности и расставшись с австрийским императором, он был уже *на пути в Венецию*.

...29 июля 1698 г. некто Ферриго Марина, глава администрации городка Местре (последнего на материке перед Венецией) докладывал в канцелярию дожа о том, что накануне, около полуночи, «группа из восьми москвитов, прибывших из Тревизо», договаривалась с местными лодочниками о переправе в Венецию... Еще более интересны документы венецианской тайной полиции, имевшей осведомителей в квартале православных греков. Один из агентов в те дни докладывал о странном оживлении в доме одного богатого грека, где жили тогда «московские князья Пьетро Голицини, Джуро Джуро, Грегорио и генерал Шеремет» (в них узнаются находившиеся в то время в Венеции князья Голицыны, Трубецкие и сам Борис Петрович Шереметев). В следующем донесении агента говорилось: «Царь приехал в пятницу вечером и прошел в дом господина Дзордзи, грека в приходе Сан-Джованни Нуово, вышел из дома с одним товарищем, оба одетые по-славянски». Следующий документ – донесение от руководителя тайной полиции прокураторам Венеции: «Конфидент вернулся ко мне и меня уверяет, клянясь своей жизнью, что Царь в Венеции, в доме, о котором уже сообщалось Вашим Благородиям, и этим вечером отправляется в Конельяно». Новое донесение датировано 30 июля: «Царь, одетый по-славянски, сегодня долго разговаривал со своим генералом (скорее всего, Борисом Шереметвым – А.К.), а потом в сопровождении своего переводчика все трое пошли к церкви Санта Мариа Формоза, все время оборо-



чиваясь назад, чтобы видеть, если кто-нибудь был сзади. Это я имею от конфидента и это сообщаю смиренно Вашим Благородиям».

Доверяя профессионализму венецианской тайной полиции, безусловно лучшей в то время в Европе, можно заключить, что «царь московитов» Петр Алексеевич Романов действительно приехал в Венецию в ночь с 28 на 29 июля 1698 г. и отбыл из нее утром 30 июля, то есть провел в Венеции одни сутки (через несколько дней он догнал «Великое посольство» в Кракове).

Между тем, Борис Петрович Шереметев, очевидно по заданию Петра, задержался в Венеции до 10 августа; потом почти месяц вел переговоры в Вене, где император Леопольд I «слушал с любопытством рассказ Бориса Петровича, в особенности об Италии и Мальте; желал, чтобы полученный им орденский знак кавалера Мальтийского ордена поощрил его к новым подвигам, полезным для всего христианства».

Побывав затем в польских землях и Киеве, Шереметев прибыл в Москву лишь 10 февраля 1699 г., представ перед царем Петром «в немецком платье, с Мальтийским командорственным крестом и драгоценной шпагою». После этого царь приказал записать во всех официальных бумагах, касаемых Шереметева, что «титло его, сверх боярского достоинства, еще получило приращение, и как в Боярской Книге, в Росписях и других бумагах, так и сам бы он писался: Боярин и Военный свидетельствованный Мальтийский Кавалер».

## **ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ**

Толстой Петр Андреевич (1645 – 7.02.1729, Соловецкий монастырь) – государственный деятель, дипломат, мемуарист. Граф (1724). Родственник князей Милославских, он во время московского восстания 1682 г. примыкал к политической партии царевны Софьи и возбуждал стрельцов против Нарышкиных, но вскоре перешел на сторону царя Петра Алексеевича, хотя и не сразу заслужил его доверие.

В 1697–1699 гг. уже немолодой Толстой (ставший к тому времени уже дедом) ездил на свои средства в Европу для овладения корабельным мастерством. Побывал в Польше, Священной Римской империи, Венеции, Милане, Папской области, Неаполе, на островах Сицилия и Мальта, о чем оставил подробнейший «Дневник».

Толстой проплыл Амальфи дважды: в начале июля и в начале августа 1698 г. во время путешествия из Неаполя на Мальту и обратно. 8 июля он записал в дневнике: «Нанял я себе филюгу, дал за нее от Неаполя до Мальтийского острова и от Мальты до Неаполя и в Мальте за ту же плату стоять 15 дней всего 100 шкудов неаполитанских, того будет 40 золотых червонных. На той филюге 1 пилиот да 8 человек маринаров» (т.е. один кормчий и восемь гребцов). Вечером того же дня путешественники обогнули Соррентийский полуостров

и на следующий день пристали к берегу южнее Амальфи, в местечке, которое моряки называли «Долнарана». 9 июля путешественники останавливались в Салерно, а затем, пройдя берегом Калабрии, миновали Мессинский залив и в скором времени достигли Мальты.

Рыцари Мальтийского ордена оказали П.А. Толстому теплый прием (незадолго до этого на Мальте побывал официальный посланец русского царя Б.П. Шереметев). 25 июля 1698 г. Толстой на той же быстроходной фелюге отправился в обратный путь из Валетты в Неаполь. Пройдя через Мессинский залив и пройдя берегом Калабрии, путешественники вечером 4 августа бросили якорь в месте, которое моряки называли Santo-Andrea. Современные издатели путевых мемуаров Толстого ошибочно посчитали, что речь идет о местечке Sant-Agnello рядом с Сорренто, однако внимательное чтение не оставляет ни малейших сомнений: «Santo-Andrea» – это конечно же Амальфи, названный так моряками по своему кафедральному собору Святого Апостола Андрея Первозванного.

П.А. Толстой записал в дневнике: «Августа в 4 день... И за 4 часа до ночи прибежали мы под одно место, которое называется Санто-Андрея, и стали в порте, в котором пристают небольшие суда. Тот город стоит при самом море под высокими горами, строение в нем все каменное, построен на веселоватом месте. В том городе живет архиепископ <архиепископ> римской веры... Около того города зело высокие горы каменные, при

море по тем горам есть много зело жилья строения каменного, изрядного...». Интересно упоминание Толстого об амальфитанском пантеоне при Соборе св. Андрея: «В том же городе в одной полате лежат 100 тел человеческих, нетленны все; а какие те были люди и какой веры, о том неведомо, для того что из самых древних лет их телеса тут лежат нетленны».

Пишет Толстой и о расположенном на высокой скале над Амальфи капуцинском монастыре (капуцины, как известно, – ответвление католического Ордена францисканцев): «На одной горе построен монастырь римской веры, в нем живут законники францишканы. В том монастыре костел во имя Пресвятые Богородицы; в том костеле образ Богородицын и чудотворная икона. Тот монастырь стоит зело на веселом месте, строение в нем каменное, изрядное. И стояли мы в том порте того числа до ночи и ночевали тут же, в том же порте».

Огибая затем Соррентийский полуостров, лодка, в которой путешествовал Толстой, попала судя по всему в большой шторм: «Августа в 5 день. За 4 часа до свету пошли мы с того места на веслах и шли три часа подле берегу. И за час до дня на нас зело великая туча, с которой был гром, и молния, и дождь, преестественно великой, и ветер, противный нашему надлежащему пути. И мы в то время не могли нимало поступить далее пристани в прилучившемся тут порте на пустом месте; а ежели в том месте не прилучилось пристанища, и нам бы от той тучи быть в море в великом страхо-

вании. И стояли мы в том пустом месте час, и еще иных три фелюги стояли тут же с нами. А как приспел день, и мы из того порту пошли на веслах». Погода скоро наладилась: «А потом начал быть ветер невеликой, а нам способой, которой итальяне называют сирокком, то есть между востоку и полудня. И мы, подняв два паруса, тем ветром побежали к Неаполю и бежали один час поперек каналу». Вечером 5 августа 1698 г. путешественники были в Неаполе.

Спустя почти двадцать лет, в 1717 г., П.А. Толстой снова побывал в Неаполе, где путем хитроумных комбинаций ему удалось склонить к возвращению в Россию скрывающегося от царя-отца в Италии наследника Алексея Петровича. Впоследствии Толстой лично возглавил следствие по делу цесаревича.

За заслуги перед российским императором Петр Андреевич Толстой получил в 1724 г. титул графа, став, таким образом, основоположником графского рода Толстых. После смерти преемницы Петра Великого, императрицы Екатерины, Толстой проиграл придворные интриги Меншикову, был сослан в Соловецкий монастырь, где и скончался.

## **СИЛЬВЕСТР ФЕОДОСИЕВИЧ ЩЕДРИН**

Щедрин Сильвестр Феодосиевич (13.01.1791, Петербург – 8.11.1830, Сорренто близ Неаполя) – художник-пейзажист. Отец, Феодосий Федорович Щедрин – скульптор, стажировался в Риме и Париже, позднее принимал участие в скульптурном оформлении Адмиралтейства, фонтанов Петергофа, Биржи и Казанского собора. Дядя – Семен Федорович Щедрин, придворный пейзажист Екатерины II и Павла I; учился в Париже, потом четыре года в Риме, несколько лет возглавлял пейзажный класс Академии художеств, автор декоративных полотен с изображением парков Гатчины, Павловска, Петергофа. Сильвестр Щедрин, уже будучи в Италии, вспоминал, как дядюшка водил его маленького в Эрмитаж и он, «пропуская все картины», подолгу рассматривал полотна Каналетто, поражаясь искусству венецианца строить перспективу и изображать воду.

В 1800 г. Сильвестр Щедрин стал воспитанником Академии художеств, а в 1811 г. окончил ее с золотой медалью, получив право на заграничную стажировку. Из-за начавшейся новой войны с Наполеоном поездка была отложена, и лишь в июне 1818 г. Щедрин, вместе с другими русскими стажерами (С. Гальбергом, М. Крыловым, В. Глинкой и В. Сазоновым) отправился в Италию.

Молодые художники плыли на корабле из Кронштадта до Штеттина, затем через Пруссию, Саксонию и Австрию добрались до Италии, посетили Венецию, Падую, Флоренцию, Сиену. Итальянцы сразу вызвали симпатию Щедрина, хотя он заметил, что привычка жить за счет «форестьеров» (иностранных туристов) испортила многих: «За каретой бегут старые и молодые с предложением услуг. Люблю за это итальянцев: старик седой, едва ходит, а раскланивается, шаркает, умничает, так и набивается чем-нибудь услужить, и если видит, что его услуги не нужны, то просит милостыню; иной, ходя, свистит так, что, не выдавши его лица, подумаешь, что играют на флейте и весьма приятно; лишь расслушаешься, он уж и протянет руку».

Русские стажеры прибыли в Рим в середине октября 1818 г. и с трудом нашли комнаты в переполненном интернациональном «квартале художников» рядом с Площадью Барберини по адресу: Via della Purificazione, 61 (сюда они будут возвращаться еще не раз после вояжей по Италии). Весной-летом 1819 г. Щедрин пишет с натуры римские виды, а также водопады в местечке Тиволи под Римом. Именно пейзажи с изображением водных каскадов приносят первый успех молодому художнику: «Все ищут в моих картинах воду, ибо многие знатоки нашли, что я оную пишу удачно; в самом деле, я имею к оному склонность, почему и выезжаю в места, где есть реки и каскады». Для развития своего таланта Щедрин мечтает поехать

поработать у моря, на берега Неаполитанского и Салернского заливов, но средств на эту поездку не хватает. Помог случай: путешествовавший в те месяцы по Италии двадцатилетний великий князь Михаил Павлович (четвертый, младший сын Павла I и брат императора Александра) заказал Щедрину несколько неаполитанских видов, поручив отъезжающему в Неаполь К.Н. Батюшкову, прикомандированному в то время к русской дипломатической миссии, организовать работу Щедрина на месте. В марте 1819 г. Щедрин писал отцу: «Вы знаете, как я желал быть в Риме, а, приехавши, стал рассчитывать, как бы побывать в Неаполе. Непредвиденный случай мне благоприятствовал... На обратном пути великого князя из Неаполя, он призвал к себе и встретил сими словами: “Поезжайте в Неаполь и сделайте два вида водяными красками; Батюшкову поручено показать вам места”. Через несколько дней объявили мне цену, вполне царскую, то есть 2500 рублей. Без этого неожиданного поручения мне трудно бы было на один пенсион прожить, а уж тем более ехать в Неаполь. Батюшков же прислал мне сказать, что он у себя приготовит мне комнату и с прислугой, – и мне очень приятно находиться с человеком столь почтенным».

В середине июня 1819 г. Щедрин отправился почтовым дилижансом в Неаполь. «Увидеть Неаполь и умереть» – пословица итальянская, которую мне еще твердили в Риме... В карете нас сидело 6 человек: три сардинца, римлянин – военный капитан, француз – пенсионер француз-

ской академии, и я; на аван-плаце – неаполитанец и еще римлянин, – всех с вотюринами <возницами> 10 человек. Первый разговор начался вопросами: кто, какой нации?... Сардинец приступил ко мне с вопросом, христиане ли русские (они всех почитают нехристианами, кто не католик), заставлял меня прочесть по-русски Ave Maria... Проехав Понтийские болота, прибыли в последний город папских владений – Террачину, местоположение коего чрезвычайно живописно. Переночевав, въехали в неаполитанские владения. Досадны нищие в Риме, но здесь несносны, бегут за каретой мальчишек 20 с милю, крича во все горло: “ваше благородие, подайте что-нибудь”. Неаполитанец их отогнал не словами, так палкой... Нельзя равнодушно видеть, до какой степени этот народ гадок, весь голый, прикрытый тряпочкой, и то прорванной, – прося милостыню, делает всякие подлости, кидая камушки, подхватывая оные ртом, визжит, скрипит зубами, так что нельзя перенести. Народ же ничем не может быть доволен, всегда мало, а пуще те люди, которых берешь для переноски вещей или других потребностей, давая цену ту, которую сам просил, и требует больше до тех пор, покамест обругаешь, тогда только отойдет».

Письма Константина Батюшкова, близко наблюдавшего Щедрина в то время в Неаполе, говорят о том, что уже к весне 1820 г. неаполитанские пейзажи Щедрина постепенно завоевывают признание ценителей живописи и богатых заказчиков. Батюшков писал, в частности, что Щедрин «до-

вольно прилежен, ведет себя прекрасно и колотит деньгу», а среди его первых заказчиков были русские – князь А.М. Голицын и посланник в Неаполе граф Г.О. Штакельберг. К лету 1820 г. Щедрин закончил и картины, заказанные ему великим князем и смог предпринять одиночные поездки верхом на ослике вдоль Неаполитанского залива, где писал этюды. Именно в те месяцы были созданы первые оригинальные картины с видами Каstellамаре, Вико, большой и малой гаваней в Сорренто, принесших Щедрину славу лучшего пейзажиста Неаполя и вызвавших впоследствии массу подражаний. Возможно, тогда он впервые побывал и в Амальфи.

В своих письмах в Россию Щедрин рассказывает и о своем быте, и о круге своего общения в Неаполе: «Здесь, маменька, совсем не то, что у немцев, – там все тихо, в самых больших собраниях сидят так смиренно, как будто все спят, а здесь шум, крик, говорят все громко, а как начнут все браниться, то выноси всех святых»; «Здесь мало pittore <художников> первоклассных, с некоторыми я знаком довольно коротко, а с другими веду шляпное знакомство в кафе Sobetto, куда собираются иностранцы по вечерам; к сему шляпному знакомству принадлежат архитекторы немецкие, да и нет приступу к их разговорам, так гамкают, что сам черт не разберет»; «Здесь все русские, имея нужду купить что-нибудь, адресуются к грекам, которые оное охотно исполняют, а без них и боже упаси, хуже наших гостинодворцев, облупят как

сидорову козу, но с тою разницею противу наших сидельцев, что гораздо глупее, и наш мальчишка проведет всякого неаполитанца, который обманывает столь грубо, что нельзя не смеяться, и если даешься ему в обман, то не из другого, как жалея его простоты и нищенства, и к чести Неаполя надо приписать то, что вы здесь ничего не найдете хорошего, чтоб было их собственное произведение, ибо что есть, то это им доставляет или природа, или иностранцы». В итальянских гостиницах и ресторанах Щедрина почему-то часто принимали за англичанина: «Не знаю, почему я похожим кажусь на англичанина: лишь войду, то и насчитывают мне английские кушанья: бефштекс, росбив, и прот., а в других местах ставили всем вино, а мне, не говоря ни слова, подают портер». Массовые волнения в Королевстве обеих Сицилий и оккупация Неаполя австрийскими войсками заставили многих иностранцев в начале 1821 г. перебраться в Рим. Хотя англичане и французы предоставили свои корабли для эвакуации всех желающих из Неаполя в порт Чивитта-Веккья, Щедрин предпочел с группой немецких живописцев добираться до Рима сухим путем. В марте 1821 г. он писал родным уже из Рима: «Наконец, пришлось покинуть прелестный Неаполь, хотя не было никакой опасности, и выдан был указ, в коем объявляют иностранцам, что оные могут оставаться спокойно; но кто может поручиться за беспорядки между разгоряченными неаполитанцами, которые слишком расхрабрились... Отъезд мой сопряжен был с хлопотами, в рассу-

ждении моих картин. Кто был в Неаполе, тот знает, какие мытарства должно переходить. Во-первых, должно все вывозимые картины и этюды представить директору Музеума, который даст свидетельство, что вывозимые картины не есть антические, и за это должно заплатить два дуката (то есть два рубля серебром)».

Холодная строгость папского города разительно контрастировала с веселым и шумным Неаполем, с которым Щедрин успел сродниться: «Я избаловался в Неаполе, тишина римская для меня кажется чрезвычайной; пуще в пост, для экономии это очень хорошо, в Неаполе всякий вечер сидишь в театре, а здесь некоторые вечера с учителем итальянского языка, а иногда в кафе играем в домино... Сижу у себя в студии и повторяю виды неаполитанские по заказу; представляющие часть Неаполя с Везувием, писанный для великого князя, и до сей поры еще находятся охотники, – некоторых мне удалось склонять на что-нибудь новенькое, но тут беды нет: как ни зови, только хлебом корми...».

Срок пенсионерства Щедрина окончательно истек в 1823 г. Однако, став известным и даже модным в Италии художником, Щедрин теперь мог прожить и без правительственной пенсии. К тому же он обзавелся в Италии влиятельными покровителями (первый среди них – граф Василий Алексеевич Перовский, близкий к Николаю I), которые могли смягчить высочайшее неудовольствие от невозвращения художника в Россию. И Щедрин

принял решение остаться в Италии: «В этих летах сидеть дома, да еще ландшафтному живописцу, – это лучшее время моей жизни, что я нахожусь в чужих краях между хорошими художниками всех наций, между товарищами и приезжающими русскими, которые оказывают возможные ласки. А в Петербурге что бы я был? Рисовальный учитель, таскался бы из дома в дом, и остался бы навсегда в одном положении, нимало не подвигаясь вперед». Родные поддержали Сильвестра: и отец, и дядя в свое время сами подолгу задерживались в Европе.

В Риме Щедрин, хотя и много работает (как в самом городе, так и в ближайших к нему маленьких городках – Тиволи, Альбано, Фраскати, Субиако), однако все время мечтает о возвращении к южному морю: «Неаполь для меня нужен. Я никогда не могу забыть сего прелестного местоположения». Наконец, 13 июня 1825 г. он вновь приехал в Неаполь. В те дни он написал брату: «После двухлетних сборов возвратился в Неаполь... Мы благополучно приехали в третий день, за то должен был провести одну ночь на понтийских болотах в скверном постоялом доме... Романические мыши летучие, пехотные клопы, блохи и комары не давали сомкнуть глаз». В неаполитанских кафе коллеги-художники встретили Щедрина как старого знакомого: «Люди в Собетто и других трактирах меня узнали и нашли, что я потолстел».

Между тем традиционный вид Неаполя с Везувием в глубине кажется Щедрину уже преснова-

тым, и он пишет в Рим Самуилу Гальбергу: «В Неаполе скучно, завтра я опять отправляюсь в Сорренто, откуда думаю ехать в Амальфи или Вико». Именно маленькие городки тирренского побережья – Сорренто, Вико, Каstellамаре, Амальфи станут излюбленными местами Щедрина-пейзажиста. В письмах к Гальбергу он объяснял свою привязанность к этим местам: «Здесь весьма удобно работать; махни только рукой и явятся пятьдесят натурщиков к услугам... Сорренто земля прелестнейшая, вообрази себе леса апельсиновые, лимонные, под тенью коих прогуливаешься. Жить очень дешево, сегодня я опять туда отправляюсь, откуда надеюсь ехать в Амальфи. Жизнь ландшафтная ни с чем сравниться не может. В самой скучной деревне имеются свои занятия, зато дурные погоды отплачивают за все прелести скукою такою человека, который будто бы с бурей выкинут на необитаемый остров». Действительно, Щедрин-пейзажист очень зависел от погоды, ибо, как правило, работал только «с натуры», избегая даже оканчивать работы в помещении на основании заготовок – как тогда говорили «чертежей».

А с погодой Щедрину везло не всегда. Осенью 1825 г., когда художник отправился работать в Амальфи, он практически застрял там на месяц, будучи не в силах ни писать «с натуры», ни уехать. По возвращении в Неаполь через Сорренто, он, наконец, написал Гальбергу: «Я всегда помню моих друзей, а жалоба моя на дурные погоды и скуку, которые претерпел в Амальфи, послужат Вам до-

казательством моей признательности в участии, которое Вы во мне принимаете... В течение целого почти месяца погоды были столь неблагоприятны, что ни одно судно не выходило из Амальфи... Наконец, я улучил один счастливый день, именно 15 ноября, и отправился в Сорренто, совершив плавание благополучно, то есть, ехавши по морю, не закачался, а вышедши на сухой путь, промок до нитки».

Летом-осенью 1826 г. в Амальфи, напротив, была страшная жара, но именно в это время, по видимому, и был создан бесспорный шедевр Щедрина – его картина «Вид Амальфи», приобретенная князем Г.И. Гагариным и находящаяся сегодня в Третьяковской галерее. Воодушевленный успехом, Щедрин написал тогда в Петербург своему покровителю Перовскому: «Мне пришла в голову довольно дерзкая мысль в первый раз как существую на свете: представить государю мою работу. На сей конец прошу Вас дать мне наставление, как мне быть достойным желаемой чести. Картину же полагаю написать нынешнего лета и имею богатый вид Амальфи». Эта картина стала потом украшением императорской виллы «Александрия».

Много усилий тратил Щедрин и на изучение итальянского языка. Когда-то, в начале своей стажировки он писал родителям: «Вы, я думаю, желаете знать, как далек я в Итальянском языке, – но не очень: выучил несколько слов, а то прибавлю к французским *-че, -нисимо, -то, -на*, и так далее; итальянцы смеются, не понимая меня. А я смеюсь,

не понимая их, чем мы остаемся довольными. Хорошо, что итальянцы, разговаривая, употребляют много жестов: говоря о безделице, подумаешь, что он говорит об войне Гишпанцев с Мавраими». Переводчиками одно время выступали немецкие художники: «Обедать я хожу в разные места, и всегда ищу немцев, они переводят, что я хочу, а если их не бывает, то у меня есть выписанные вокабулы, по которым я и спрашиваю». Позднее, несколько разбогатев за счет продажи своих картин, Щедрин постоянно упражнялся в языке, занимаясь с учителями. К концу жизни он очень хорошо говорил на итальянском.

На берегах Неаполитанского залива прошли последние пять лет жизни Щедрина: в холодные месяцы он жил в Неаполе, а с марта-апреля по октябрь-ноябрь предпочитал работать на природе в городках тирренского побережья и на окрестных островах. Именно в эти годы были написаны многие полотна Щедрина – пейзажные виды Сорренто, Капри, Амальфи, а также картины, объединенные в тематические серии – «Террасы», «Веранды», «Гроты»...

В те годы Щедрин находится в апогее славы: его картины отлично раскупаются; чуть ли не каждый житель Неаполя и окрестных городков знает и любит «дона Сильвестро». Князь Г.И. Гагарин, новый русский посланник в Риме, писал Президенту Академии художеств А.Н. Оленину: «Щедрин в Неаполе. Я его почитаю лучшим пейзажистом в Италии. Никто так верно и бесподобно не выра-



жает натуры, особенно морские виды. У меня есть его большая картина, представляющая Амальфи и весь залив, нельзя на нее довольно налюбоваться, и она убивает все прочие картины, возле нее висящие».

Среди заказчиков Щедрина в те годы – русская императрица, неаполитанский король, богатые европейские аристократы. Щедрин принимает и другие заказы, которые немало утомляют его. «Когда я должен писать виды по приказу, – писал он Перовскому, – которые тысячами вижу в домах, в магазинах, на всех городских перекрестках, деланные и переделанные всякого рода художниками, то признаюсь, при всей моей деревянности, кисть не держится в руках». К тому же художника все более одолевает болезнь, которая вскоре и сведет его в могилу: «Болезнь моя была совершенно неаполитанская, разлитие желчи, чем здесь многие страдают. Доктор мне советовал много ходить, а другой – совсем быть без движения»; «Разлитие желчи, глаза, лицо, грудь и плечи сделались шафранного цвета, я потерял охоту к занятиям и более двух недель не брал кисть в руки. Вдобавок лекарство не действует, и я бы готов был пуститься на все, даже пошел бы исповедоваться, если бы знал, что с отпущением грехов попом отпустятся и болезни».

В 1827 г. Щедрин пережил, по-видимому, сильное увлечение: путешествующая по неаполитанскому и амальфитанскому берегам некая «госпожа Корсакова» из Петербурга заказала ему диптих с

видами Сорренто и Амальфи. И если соррентийский пейзаж был сделан Щедриным быстро, то с амальфитанским он мучился два или даже три сезона, но так и остался недоволен. «Она желала иметь вид Амальфи, – писал он Гальбергу, – но этот вид Амальфи, хотя мною написан и мне мало остается что-либо кончить, но крайне не нравится картина, почему руки не поднимаются, чтобы оную дописать. Я написал, что вместо вида Амальфи пришлю другой вид Сорренто, но до сей поры не получил никакого ответа...». Переписка Щедрина в те месяцы полна тревоги: как найти таинственную заказчицу, ведь оказалось, что он даже не знал ни ее имени, ни точного адреса! На поиски «госпожи Корсаковой» были подняты все знакомые Щедрина – в Неаполе, Риме, Петербурге. Однако тщетно: картины эти были после смерти Щедрина найдены в его неаполитанской мастерской...

В конце марта 1828 г. неожиданно проснулся дремавший несколько лет Везувий: «Около двух часов пополудни поднялся ужасный столб дыму, и стоял около часу над горой, подобно самым густым облакам; перемена форм дыму от непрерывного извержения, равно и перемена освещения и красок было зрелище ни с чем не сравненное... Сколь большое удовольствие принесло мне сие зрелище, с другой стороны, было неприятно беспрестанное дрожание дверей и окошек во время дыму. Слухи о сем извержении дошли до Рима, оттуда множество иностранцев пустились в Неаполь, в том числе Брюллов и Габерцетель; но лишь

Брюллов явился ко мне, то, как на смех, стихший вулкан перестал вовсе куриться, и он, пробыв дня четыре, возвратился опять в Рим».

В 1828 г., как и в предыдущие годы, Щедрин в течение семи месяцев работал вне Неаполя: был в Пуццуоли, на Капри, в Вико, Сорренто, Амальфи. На новый, 1829-й год, в Неаполь приехала популярная среди русского образованного общества великая княгиня Елена Павловна – жена великого князя Михаила Павловича. Бывшая вюртенбергская принцесса Фредерика-Шарлотта-Мария активно покровительствовала художникам: по рекомендации княгини Софьи Григорьевны Волконской (сестры декабриста, державшейся подальше от николаевского двора и жившей в Швейцарии и Италии) она приобрела два неаполитанских пейзажа Щедрина. В январе 1829 г. С. Щедрин писал брату: «Новый год здесь все русские встретили отменно хорошо, поутру было представление великой княгине, где я не мог быть за неимением мундира, но ввечеру был приглашен к англичанину, которого и посетила Ее высочество».

В марте 1829 г. Сильвестр Щедрин королевским указом был удостоен звания почетного профессора Неаполитанского королевского института изящных искусств. Однако болезнь художника продолжала развиваться. Изменился характер картин Щедрина: он, в частности, увлекся ночными пейзажами Неаполя, Сорренто, Амальфи, в чем, как отмечали критики, несомненно сказалось болезненное состояние. С целью излечения,

летом–осенью 1829 г., Щедрин ездил принимать минеральные ванны на остров Искья, а затем совершил длительную поездку на север Италии и в Швейцарию – посетил Пизу, Лукку, Геную, Турин, Женеву. В путешествии его сопровождали две покровительницы – княжна Елена Михайловна Голицына и графиня Екатерина Артемьевна Воронцова – старые девы, фрейлины великой княгини Анны Федоровны, которая после развода с великим князем Константином Павловичем жила в Италии. Врачи уговаривали Щедрина ехать лечиться на воды в Карлсбад, но он предпочел Италию и в феврале 1830 г. вместе с Голицыной и Воронцовой приехал в Рим: «Здесь довольно русских фамилий, у которых бывают собрания музыкальные и театральные; у самого министра также поставлен театр, но, к несчастью, я из-за болезни никуда не показываюсь».

Потом снова пробовал лечиться на Искье, в Неаполе, в Вико, опять Неаполе, в Сорренто, Амальфи, часто прибегая к услугам случайных людей и откровенных шарлатанов. 7 ноября 1830 г. умирающего Щедрина привезли из Амальфи в Сорренто. На следующий день, в 9 часов утра он скончался в гостинице, в которой всегда останавливался. (В этом доме, где по преданию родился Торкватто Тассо и который до сих пор именуется «Домом Тасса», сегодня расположен элитный отель «Тассо-Трамонтано»).

Вот свидетельство очевидца о последних часах Сильвестра Щедрина: «Щедрин, оправившись не-

сколько в Вико и Сорренто, перешел в Амальфи, где дался какому-то шарлатану, убедившему его продолжить лечение, чтобы вовсе искоренить болезнь: ежедневно задавал ему сильные лекарства и вместе с тем теплые ванны, чем довел Щедрина до такой слабости, что только на руках могли его донести в Сорренто, умирающего и в беспмятстве. Через несколько часов он пришел в себя и, извергнув ртом много черной желчи, испустил дух». До последних мгновений у постели великого пейзажиста находился хорошо знавший его русский священник, который жил в Сорренто. Сильвестр Щедрин был похоронен на берегу моря, в церкви Св. Винченцо за главным алтарем в присутствии членов русской неаполитанской миссии и друзей. Среди местных жителей, всегда с огромным уважением относившихся к «дону Сильвестро», долгое время бытовало поверье, что могила Щедрина – место священное, способное творить чудеса и исцелять больных детей.

Церковь Св. Винченцо находилась рядом с монастырем, который при правлении Мюрата был превращен в госпиталь. После реставрации Бурбонов монастырь в 1835 г. был передан иезуитам. С объединением Италии монастырь был закрыт, и церковь бездействовала. В 1873 г. монастырский участок был продан государством итальянской семье де Мартино, которая, спустя тридцать лет перепродала его американскому миллионеру Вильяму Астору. Новый владелец уничтожил монастырь, объединив его территорию с принадлежащей ему

соседней землей. Тогда-то захоронение Щедрина и перенесли на городское кладбище Сорренто.

Над могилой сохранился памятник, поставленный на средства брата художника – Аполлона Щедрина. Эскиз памятника задумал С.И. Гальберг, а П.К. Клодт отлил его из бронзы. На бронзовом барельефе, как описывал его русский гравёр Федор Иордан, «художник, в плаще, с кистью в руках, засыпает сном смерти. Голова его опустилась, равно как и рука, в которой он держит палитру».

## ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ

Жуковский Василий Андреевич (29.01.1783, с. Мишенское Тульской губ. – 7.04.1852, Баден-Баден, Германия) – поэт, переводчик, общественный деятель. Незаконнорожденный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи (в крещении — Елизаветы Дементьевны Турчаниновой). Учился в Московском благородном университетском пансионе. Участник народного ополчения в 1812 г. В 1821 г. путешествовал по Северной Италии. В середине 1820-х гг. близко подружился с русско-немецким художником Евграфом Романовичем Рейтерном (1794–1865), участником антинаполеоновских войн (в битве под Лейпцигом потерявшим правую руку), много ездившем по Италии, в том числе по берегам Неаполитанского залива. (В 1841 г. 58-летний Жуковский женился на 20-летней дочери Рейтерна – Елизавете).

Весной 1833 г. после путешествия по Франции Жуковский и Рейтерн решают ехать в Италию. Одной из главных целей поездки было желание Жуковского увидеть Пизу и Ливорно – места, связанные с последними днями и кончиной его любимого друга Александры Андреевны Протасовой («Саши», в замужестве Воейковой), умершей от чахотки в Пизе зимой 1829 г. и похороненной на греческом православном кладбище в Ливорно.

Все путешествие Жуковского одолевали, по его словам, «мысли, черные как ночь».

11 апреля 1833 г. Жуковский и Рейтерн отправились на пароходе «Фердинанд» из Марсея в Геную, а затем в Ливорно. Жуковский записал в дневнике: «Мы остановились завтракать в café Minerva. Я отправился на кладбище. Долг свой милому праху Саши заплатил только биением сердца при приближении. Остальное смущено поспешностью, помехою; я срисовал милый гроб наш. Место тихое и ясное». Из Ливорно Жуковский ездил в Пизу: «Случай меня привел остановиться в трактире окнами против окна, в коем сидела Саша, и против той башни, которая своим звоном оживила ее последнюю ясную минуту».

16 апреля Жуковский и Рейтерн приплыли на том же корабле в Чивитта-Веккиа: там, на пристани, их встретил Александр Иванович Тургенев, друг Жуковского еще по Московскому университетскому пансиону, много работавший в римских архивах как историк дипломатических отношений. Втроем они отправились в Неаполь, где поселились в «Hôtel de la Russie». Жуковский записал в те дни в дневнике: «Даже и на балконе сидеть было нельзя от довольно резкого холода... Дождик льет ливнем, и холодный ветер свищет в окна; от сильного ветра нет приюта; все окна со щелями, двери не затворяются – вот как Неаполь нас угощает!... Еще нет Италии – все, что и где не природа и не искусство, отвратительно». Через несколько дней, когда погода, наконец, наладилась, путешественники

ездили в Геркуланум и Помпеи: «Величественность и пустынность; тишина Везувия; лазурные пары, все обнимавшие, все в дыму жаркого дня... Тишина, пустота, цветы и растения – невыразимо». 26 апреля путешественники предприняли восхождение на Везувий. До самого кратера Жуковский не добрался – послал туда своего слугу Федора, а сам дождался в хижине отшельника, рисуя виды Неаполитанского залива.

27 апреля Жуковский и Рейтерн (заболевший Тургенев остался в гостинице) наняли лодку с шестью гребцами и отправились в Вико, откуда на ослах ездили в Сорренто, где ночевали в гостинице «Donna Rosa». На следующее утро они отправились через перевал, к берегам Салернского залива. Жуковский записал в дневнике: «Переезд в Carricatogna на ослах. Вор проводник. Цветущая долина. Спуск по крутизне к Каррикатонью. Каменная избушка. Переезд из Салерно. Сперва жар и виды диких берегов». Ездили на лодке вдоль побережья; особенно понравились Жуковскому виды Амальфи, Минори, Майори... Поразил Жуковского и ночной вид с террасы гостиницы над Салернским заливом, где они с Рейтерном поздно вечером ужинали «в обществе французских путешественников»: «Темнота неба с прелестными звездами. Летучие светящиеся мухи». На следующий день Жуковский и Рейтерн рисовали виды Салернского залива...

Жуковский оставил короткие дневниковые записи об обратном пути через перевал, посещении

Виетри и Кава-ди-Тиррени, о возвращении в Помпеи: «Путешествие через Виетри, La Cava. Обед в La Cava. Оттуда в Помпею, где рисовали на развалинах торговой площади...». 2 мая 1833 г. Жуковский, Рейтерн и поправившийся Тургенев выехали из Неаполя. На следующий день они были в Риме, а еще через месяц Жуковский вернулся во Францию.

## ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ

Вяземский Петр Андреевич (12.07.1792, Москва — 10.11.1878, Баден-Баден, Германия) – поэт, историк, публицист, государственный и общественный деятель. Член Императорской Академии наук (1841), основатель и первый председатель Русского исторического общества (1866). Сын князя Андрея Ивановича Вяземского – крупного вельможи, философа и общественного деятеля, много путешествовавшего за границей (в т.ч. по Италии), и ирландки О’Рейли (в первой браке – Кин), которую князь, тайно от мужа, вывез из Англии (после официального развода и нового замужества она стала русской княгиней Евгенией Ивановной Вяземской).

Князь Петр Андреевич получил прекрасное домашнее образование, обучался также в петербургском пансионе иезуитов и пансионе при петербургском Педагогическом институте. В Отечественную войну 1812 г. вступил в народное ополчение, отличился в Бородинском сражении. Оставив военную службу, провел три года в варшавской канцелярии Н.Н. Новосильцева, в атмосфере конституционных планов и надежд. Ездил к Александру I с составленным Новосильцевым проектом Конституции; принял участие в написании Записки о крестьянском освобождении, поданной Государю группой либеральных деятелей.

Попав в царскую немилость, оставил службу и поселился в Москве, где посвятил себя литературному труду; в 1820-х гг. получил признание как поэт и литературный критик. В начале 1830-х вернулся на государственную службу; в 1834 г. – статский советник, вице-директор Департамента внешней торговли и камергер Высочайшего Двора.

В начале 1834 г. тяжело заболела дочь П.А. Вяземского – Прасковья (Полина, «Пашенька»). Вместе с женой Верой Федоровной, урожденной княжной Гагариной, и тремя дочерьми: Марией (1813 г.р.), Прасковьей (1817) и Надеждой (1822) Вяземский отправился для лечения дочери за границу. 11 августа 1834 г. они на пароходе «Николай I» отплыли из Кронштадта в Травемюнде; далее, через Гамбург, Ганновер, Геттинген и Кассель, прибыли в Ганау, где европейская знаменитость, доктор Иоганн-Генрих Копп (рекомендованный Вяземскому приехавшим в Россию из Германии Жуковским) определил у Прасковьи обострившийся туберкулез и посоветовал для лечения Южную Италию. Минуя Баварию и Австрийские Альпы, Вяземские проехали Сардинское королевство и Великое герцогство Тосканское (где на две недели задержались во Флоренции) и 30 ноября 1834 г. приехали в Рим.

В начале февраля 1835 г. состояние Пашеньки несколько улучшилось, и Вяземский, оставив ее на попечение матери и сестер, один поехал в Неаполь. 11 февраля он отметил в записной книжке: «Зажег сигару огнем Везувия в 12 часов утра».

Однако уже через несколько дней он получил сообщение о серьезном ухудшении здоровья дочери и выехал в Рим.

11 марта 1835 г. Прасковья Вяземская скончалась и на третий день была похоронена на римском «некатолическом» кладбище Тестаччо. В те дни художник Михаил Лебедев изобразил надгробие Пашеньки Вяземской на фоне римской пирамиды Кая Цестия: эта могила впоследствии станет культовым местом для многих русских путешественников. Тогда же, в Риме, художник Орест Кипренский написал известный карандашный портрет Петра Вяземского, сделав на нем печальную надпись: «В знак памяти...».

Сам Петр Вяземский написал в те дни сыну Павлу: «Тело ее предали земле на иностранном кладбище... Если тебе придется быть когда-нибудь в Риме, ты в нем не будешь совершенно чужой, а найдешь родную могилу и слезы наши, которые и нас сроднили навсегда с Римом». Спустя двенадцать лет, в январе 1847 г., князь Павел Петрович Вяземский, тогда секретарь Российского посольства в Константинополе, похоронит рядом с сестрой Прасковьей свою дочь Челестину.

Спустя неделю после похорон дочери, Петр Вяземский, чтобы отвлечь и утешить жену, предложил ей вдвоем совершить поездку в Неаполь и Амальфи. 26 марта они осматривали Неаполь, на следующий день – Помпеи, а 28 марта апреля, уже из Салерно, ездили посмотреть развалины греческих храмов в Пестуме. 29 марта они весь день плава-

ли на лодке между Виетри и Амальфи, восхищаясь красотой амальфитанского побережья.

Возвратившись потом на ослax на неаполитанский берег, Вяземские ездили на лодке в Сорренто, а оттуда – на остров Капри, где посетили знаменитый Голубой грот. Вяземский написал в те дни в записной книжке: «Голубой грот – лежа врываешься в маленькой лодке – точно голубое и чудесное – обратно в Сорренто – на ослax в Кастелламаре – прелестная дорога – померанцевый сад на скалах...».

2 апреля 1835 г. Вяземские уехали из Неаполя в Рим. Оттуда 10 апреля П.А. Вяземский, уже один, в крайне тяжелом душевном состоянии, отправился в обратный путь в Россию. Через год он напишет А.И. Тургеневу: «Для меня все путешествие мое – как страшный сон, который лег на душу мою, или, лучше сказать, вся прочая жизнь была сон, а она, как свинцовая действительность, обложила душу отныне и до воскресения мертвых».

## ФЕДОР ИВАНОВИЧ БУСЛАЕВ

Буслаев Федор Иванович (13.04.1818, г. Керенск Пензенской губ. – 31.07.1897, Москва) – филолог, историк, искусствовед. Выдающийся знаток истории русского языка, славянской филологии, истории византийского и древнерусского искусства. Профессор Московского университета, с 1861 г. – академик.

После окончания словесного факультета Московского университета был приглашен работать домашним учителем в семью графа Сергея Григорьевича Строганова – попечителя Московского учебного округа. Летом 1839 г. Строганов пригласил его с собой Италию, где Буслаев должен был преподавать русскую историю и словесность детям графа. Строганов снабдил молодого учителя деньгами (тогда путешественники предпочитали голландские десятифранковые червонцы) до Дрездена, где тот должен был ожидать графиню с детьми из Карлсбада, а самого графа – из Москвы.

Буслаев добрался морем до Травемюнде, потом ехал дилижансами; от Лейпцига до Дрездена уже была железная дорога. Оттуда он вместе со Строгановыми ехал до Неаполя экипажами. Для крутых подъемов на высоты Тирольских и Апеннинских гор в экипажи впрягали волов. На два-три дня путешественники останавливались в Мюнхене,

Инсбруке, Вероне, Болонье, Сиене; по неделе провели во Флоренции и Риме.

Граф С.Г. Строганов ехал в Италию со всей семьей: женой Натальей Павловной, сыновьями Александром (студентом, на год моложе Буслаева), Павлом 16-ти лет, десятилетним Григорием и полуторогодовалым Николаем, а также дочерьми Софьей и Елизаветой 15 и 13 лет. Их сопровождали немецкий гувернер старших сыновей (доктор филологии одного из немецких университетов), лозаннская гувернантка дочерей, немецкая бонна Николая, камердинер графа, горничная графини и повар. Был также специальный курьер, свободно говоривший на четырех языках, который ехал впереди экипажей и договаривался насчет обеда и ночлега. В случае длительных остановок этот же курьер нанимал для Строгановых дом или виллу со всей обстановкой и прислугой. В гостиницах богатым путешественникам полагался также гид – «лон-лакей» (по-итальянски – *domestico di piazza*).

Граф Строганов, будучи одним из образованнейших людей своего времени, прекрасно знал Европу. Он владел несколькими европейскими языками, был одним из крупнейших коллекционеров древнего искусства: в своем петербургском доме он собрал огромную коллекцию древних монет; московский же дом Строганова славился на всю Европу собранием византийских и русских икон. Впоследствии сыновья С.Г. Строганова продолжили семейную традицию: Павел Сергеевич разместил в своем петербургском доме большую кар-



тинную галерею, а Григорий Сергеевич, живший в основном в Италии, собрал в Риме в своем палаццо на Via Sistina уникальную коллекцию памятников древнехристианского и византийского искусства.

В начале ноября 1839 г. Строгановы приехали, наконец, в Неаполь, где прожили до апреля 1840 г.; начало лета провели на острове Искья, а в августе-сентябре жили на арендованных виллах в Сорренто. В дни, свободные от занятий, Федор Буслаев, с разрешения Строганова и даже при его прямом поощрении, совершал небольшие путешествия – в Помпеи, Вико, Каstellамаре, на остров Капри.

В субботу-воскресенье 19-20 сентября 1840 г. состоялась поездка 22-летнего Буслаева по Амальфитанскому побережью, которую он достаточно подробно описал в своих мемуарах. 19 сентября Буслаев отправился на нанятой лодке из Сорренто: «Читая Тасса, вдоль отвесных утесов ехал я в лодке; время от времени выдавались вперед скалы, с построенными на них башнями: весь берег представлял вид неприступной крепости. Какая противоположность гостеприимной равнине Соррентской! А, между тем, не далее двадцати верст от нее. Там и сям высоко в ущельях гор лепились города и деревеньки».

Вид Амальфи особенно понравился молодому путешественнику: «Вид на Амальфи с моря несравненный! Непрерывную цепь скал прорезывают две глубокие долины, одна возле другой, разделенные скалою; пологие скаты долин к морю образуют ровные отмели с удобными пристанями, защи-

щенными заливом, между Punta di Conca и Capo d'Orsa. Такое-то место выбрали моряки средних веков для своего главного пристанища. Начиная от приморского берега, дома выше и выше полукругом, как в древнем театре, поднимаются на окруженные скалы, обратись фасадами к морю, единственному поприщу деятельности здешнего народа. Остроконечные скалы по сторонам города на самых вершинах своих вооружены башнями и замками, которые некогда служили городу сильную защиту, а теперь своими развалинами только украшают его живописное местоположение. Влево, если смотреть с моря, по скале вьется дорожка к капуцинскому монастырю, огромному зданию, которое, как бы отстраняясь от суеты житейской, стоит одно, в некотором отдалении от города, вися на скале, возле огромной пещеры».

Пристав к берегу в Амальфи, Буслаев отправился горной тропой в Атрани, где сопровождавшие его моряки (а по-совместительству и гиды) показали главную достопримечательность – дом, где когда-то жил предводитель борьбы и испанцами Мазаниелло: «В Атрани указали мне жилище Мазаниелло; как вороново гнездо, прилипло оно высоко к скале. Долина полна зеленью и ручьями, которые местами бьют живописными водопадами, что представляет яркую противоположность с необъятными стенами скал, суровыми, светлыми, с причудливыми обломками и пещерами, где взор напрасно ищет жизни и растительности. Громады эти покрыты каменистыми волокнами и

сосульками, висящими в воздухе, когда скала сво-  
евольно вгибается внутрь, образуя трещину или  
пещеру. Подумаешь, что все это в первобытном  
кипении элементов, тая и плавясь, от внезапного  
дуновения вдруг остановилось, застынув в своих  
плавучих формах».

Далее путь Буслаева лежал еще выше – в Ра-  
велло: «Долина около часу времени прекращается,  
поднимаясь выше и выше. Равелло стоит на горе.  
Церковь св. Пандалеона замечательна своими дву-  
мя кафедрами, одна против другой, украшенны-  
ми мозаикою. По правую руку кафедра на четырех  
столбах, извитых винтом и стоящих на львах: на-  
ружная часть ее лестницы и перила наверху укра-  
шены мозаиками из птиц, зверей, звезд и различ-  
ных чудовищ; в этих изображениях видна какая-то  
дикая фантазия, любящая необычайное. Кафе-  
дра на левую руку без колонн тоже с мозаиками:  
с одной стороны, какое-то морское чудовище, а с  
другой – должно быть, кит, с Ионою в пасти. Двери  
церкви XII века, кажется, 1176 г., с надписью, все  
украшены в маленьких четвероугольниках изобра-  
жениями: там сидит Мадонна, или идет какой свя-  
той; там двое со щитами в руках, в одеждах, похо-  
жих на короткие русские кафтаны, дерутся какими-  
то палками: там, вероятно, св. Георгий на коне  
поражает змия, а там какая-то фигура натягивает  
лук. Изображения отличаются неумелостью; сюже-  
ты обозначают дух воинский и суровый. Уже ста-  
новилось темно; в обширной церкви раздавались  
звуки органа, кругом тишина пустыни и сумерек.

За церковь развалины какого-то средневеково-  
го здания: стены украшены столбиками из глины,  
далее ворота сквозь башню, как в нашем Кремле  
– это башня с круглым сводом, со столбиками и по  
сторонам с какими-то мраморными фигурами ста-  
риков с чашами или вазами. Проводник говорит,  
что это изображения четырех времен года; не по-  
тому ли так думают, что всего четыре фигуры, а не  
более или менее; впрочем, они так изуродованы,  
что трудно, кажется, сказать о них что-нибудь по-  
ложительное. Через длинную аллею, покрытую ви-  
ноградными ветвями с висящими кистями, вошел  
я во внутренность или, лучше сказать, atrium зда-  
ния: темноватый портик под сводами, с частыми в  
два ряда тоненькими мраморными колоннами; он  
с трех сторон окружает внутренность весьма тес-  
ного двора; с четвертой стороны, из виноградни-  
ка, рассматривал я наружность портика: вверху  
двойной ряд колонн сходится продолговатым по-  
лукругом с острою вершиною; выше на стене из  
штукатурки извиваются круги; еще выше ряд ма-  
леньких витых колонн. Темнота и таинственность  
царствовали под этим темным портиком: сумерки  
еще больше тому способствовали. А вот с другой  
стороны и сад неведомых жильцов этого здания с  
прекрасною террасою вдоль моря, которая окан-  
чивается беседкою с витыми колоннами на львах  
по сторонам, с каменным столом посреди, укра-  
шенным арабесками. Виноградные лозы изобильно  
осеняют террасу. Прямо расстилается далеко  
внизу бесконечное море; влево ближние скалы с

маленькими городами на их ребрах и далекая полоса берегов Калабрии».

Воскресным утром 20 сентября Буслаева разбудили сопровождавшие его моряки: «Желая ли видеть далекий берег Италии, освещенный восходящим солнцем, или еще более, может быть, под влиянием стихов Тасса, которые накануне читал я, как Ринальд перед своим геройским подвигом любовался на восход солнечный, поехал я на лодке в далекое море посмотреть, как встает солнце из-за гор Салернских. Но волны поднимались выше и выше, с юго-запада неслись черные тучи, тогда как за горами восток яснил рождающеюся зарею, лодка наша сильно колыхалась от напора волн. Нет! нужна была Ринальдова твердость победить чувственные инстинкты, чтобы насладиться прекрасным восходом дневного светила: у меня не достало решимости пуститься далее, и лодка быстро понеслась назад; волны по временам хлестали в лодку». Вернувшись на лодке из Атрани в Амальфи, Буслаев отправился к стоящему на горе знаменитому монастырю капуцинов: «Огромные камни, лежащие под ним далеко в море, кажутся остатками тех, которыми когда-то гиганты разили в небо. Порттики на дворе монастырском с двойными колоннами (т.е. в два ряда). Виды с террасы чудесные: и город, и скалы, и далекое море с берегом; недостает в ландшафте только одного – самого монастыря, который кажется мне главным украшением вида на город. Стоя у монастырского грота, смотрел я на утреннюю зарю, как солнце из обла-

ков бросало свои цветистые лучи на отдаленные берега. Не думаю, чтобы было много гротов, живописностью своею равняющихся с пещерою капуцинского монастыря в Амальфи: природа будто нарочно вылила ее из металла с различными фигурами сталактитов, загнутыми, круглыми, тянущимися вдоль и висящими в высоте: подобные узоры случайно выливаются в стакане воды из воску, когда на Святках девушки гадают о своей судьбе. Надобно же было, чтобы, как нарочно, этот грот образовался на плане полукруга, под сводом в виде алтарной абсиды! Природа же постаралась вдоль всей стены грота кругом выбить уступ, а монахи в религиозном усердии расставили на нем в натуральную величину раскрашенные фигуры Мадонны и разных святых. Тут же около из каменистой стены пробивается какое-то деревцо, – кажется, фиговое. Посреди грота водружены три искусно сработанные креста, вышиною вдвое больше человеческого роста. Кажется, сама природа создала эту пещеру для божественного алтаря, а капуцины, чувствуя все великолепие, которым убрала природа этот нерукотворный храм, не дерзнули украсить его ухищрениями искусства и только осенили его водружением деревянных крестов с теми немудреными статуями Мадонны и святых».

Обратный путь от Амальфи до Сорренто запомнился Буслаеву на всю жизнь: «Есть вещи, которые не забываются вовеки. На возвратном пути, подъехав к Punta di Conca, лодка наша была на пути к гибели; скалы, разимые волнами, в своих пещерах

издавали глухой, страшный рев, а брызги вносились выше высоких деревьев. Было страшно. Тут узнал я, о чем думают, когда, умирая, прощаются с жизнью».

В начале октября 1840 г. семейство Строгановых вместе с Буслаевым покинуло неаполитанское побережье и переехало в Рим. Буслаев так вспоминал о своем последнем дне в Неаполе: «Солнце уже клонилось к западу, разливая далеко вокруг себя ослепительное золото. Вместе с закатывающимся солнышком и я прощался с этою чудною странюю, и с Сорренто, и с Искиею, в которых я провел столько блаженных часов, и с Неаполем, и с Помпеею, где столькому я научился, и с озерами, и с пригорками пуццольскими, по которым я часто гуливал, и с заливом Байским, вдоль которого еще накануне я делал свои археологические наблюдения. Прямо передо мною ряд заливов, островов, озер от Камальдоло до Искии представлял чудное смешение земли и моря; направо – бесконечный берег Италии терялся между морем и землею; далекие маленькие острова казались птичками, мелькающими по пространству, наполненному парами заходящего солнца. Влево панорама заключалась Везувием, вправо – необозримым пространством Италии, с равнинами и горами, берегами и морем; вся даль синела. Проводив с небосклона солнышко, отправился я домой. Вечером при лунном сиянии в последний раз гулял я по Villa Reale и сидел на террасе. Прощай, Неаполь! Через час я тебя оставляю и, может быть, навсегда!»

Действительно, Ф.И. Буслаев больше никогда не был в Южной Италии. Но в его юношеских дневниках сохранилось немало интереснейших наблюдений, которые выдают в нем будущего большого знатока в области сравнительной культурологии. Вот, для примера, ранние рассуждения будущего академика о различиях между православием и католицизмом: «Католичество отличается от нашего православия не только богословскими догматами, сколько своим потворством человеческим слабостям и прихотям, уловляя в свои сети суеверную паству прелестями изящных искусств в украшении церквей и разными пустопорожными затеями ухищрённых церемоний. Тогда храм становился в моих глазах театральною сценою, а церковнослужители превращались в искусных актеров... Не углубляясь в разногласия богословских трактатов, отделившие западное католичество от нашего православия, за отсутствием русских церквей, я усердно молился и в итальянских, ничего не находя в этом предосудительного для своей религиозной совести. Молятся же под открытым небом чумаки, остановясь со своим обозом на широком раздолье степей, или плавающие по морю на корабельной палубе».

В начале апреля 1841 г. графы Строгановы, а вместе с ними и Буслаев, оставили Италию и отправились в обратный путь в Россию – через Вену, Варшаву, Брест и Смоленск.

Позднее, многие ученики Буслаева в Московском университете с благодарностью воспомина-

ли о его лекциях. Павел Милюков, например, рассказывал о своей подготовке к первой поездке в Италию: «Я должен с благодарностью вспомнить о профессоре Ф.И. Буслаеве... Профессор постоянно возвращался к своим воспоминаниям об Италии. Помню, раз он вдруг заговорил о картине Мантенья, как образце раннего итальянского реализма. Другой раз он движениями рук объяснял, как он научился одним осязанием различать настоящую греческую скульптурную работу от римской. Такие проблески запоминались, возбуждали любопытство и будили настоящий интерес».

## **ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ**

Айвазовский Иван Константинович (настоящее имя – Ованес Гайвазовский; 29.07.1817, Феодосия – 2.05.1900, Феодосия). О своем происхождении сам Айвазовский рассказал однажды в кругу семьи такое предание: «Я родился в городе Феодосии в 1817 году, но настоящая родина моих близких предков, моего отца, была далеко не здесь, не в России. Кто бы мог подумать, что война – этот бич всеистребляющий, послужила к тому, что жизнь моя сохранилась и что я увидел свет и родился именно на берегу любимого мною Черного моря. А между тем это было так. В 1770 году русская армия, предводительствуемая Румянцевым, осадила Бендеры. Крепость была взята, и русские солдаты, раздраженные упорным сопротивлением и гибелью товарищей, рассеялись по городу и, внимая только чувству мщения, не щадили ни пола, ни возраста. В числе жертв их находился и секретарь бендерского паши. Пораженный смертельно одним русским гренадером, он истекал кровью, сжимая в руках младенца, которому готовилась такая же участь. Уже русский штык был занесен над малолетним турком, когда один армянин удержал карающую руку возгласом: “Остановись! Это сын мой! Он христианин!” Благородная ложь послужила во спасенье, и ребенок был пощажен. Ребенок этот был отец мой. Добрый армянин не покончил

этим своего благодеяния, он сделался вторым отцом мусульманского сироты, окрестив его под именем Константина и дал ему фамилию Гайвазовский, от слова Гайзов, что на турецком языке означает секретарь. Прожив долгое время со своим благодетелем в Галиции, Константин Айвазовский поселился, наконец, в Феодосии, в которой он женился на молодой красавице-армянке...».

В Императорской Академии художеств юный Ованес Гайвазовский учился у пейзажиста М.Н. Воробьева и француза Филиппа Тоннера – мастера по изображению воды, приглашенного в 1830-х гг. императором Николаем I в Петербург. За серию маринистских картин Айвазовский получил в двадцатилетнем возрасте Большую золотую медаль Академии художеств и право на заграничную командировку.

В 1840–1844 гг. был на стажировке в Европе, главным образом в Италии. Находясь в сентябре 1840 г. проездом в Венеции, посетил армянский монастырь на острове св. Лазаря, где с 11-ти лет обучался его старший брат Габриэл, ставший впоследствии архиепископом – он и предложил Ованесу стать «Иваном Айвазовским». В Венеции же Айвазовский встретился с Н.В. Гоголем, в очередной раз возвращавшимся в Рим. Из Венеции, через Болонью и Флоренцию, они ехали в одном дилижансе вчетвером: Айвазовский, Гоголь, врач Н.П. Боткин, литератор В.А. Панов – и всю дорогу играли в преферанс. Айвазовский позднее вспоминал: «Ехали мы в наемной четверместной ко-

ляске, и, каюсь в нашем общем грехе, – дорогой мы играли в преферанс, подмостив экипажные подушки вместо стола. Впрочем, это не мешало нам восхищаться красивыми местностями, попадавшимися на дороге».

Во Флоренции Айвазовский виделся с А.А. Ивановым, приехавшим, чтобы срисовать в галереях Уффици и Питти несколько деревьев с пейзажем Сальватора Розы в связи с работой в Риме над «Явлением Христа народу». Пробыв некоторое время в Риме, Айвазовский в октябре 1840 г. обновался в Неаполе, откуда он той же осенью совершил несколько поездок по Неаполитанскому и Амальфитанскому берегам вместе с другим русским художником Василием Ивановичем Штернбегом (1818-1845), окончившим класс Михаила Воробьева в Академии художеств на год позже Айвазовского (и тоже с Большой золотой медалью).

Уже к концу 1840 г. Айвазовский написал в Неаполе и его окрестностях более десятка картин – часть из них весной 1841 г. экспонировалась в Риме и вызвала восторг публики. Три работы – «Неаполитанская ночь», «Буря» и «Хаос» – были признаны безусловно лучшими. Сам папа Григорий XVI выставил картину «Хаос» в своих апартаментах в Ватикане. Приветствуя этот факт, живший в Риме Гоголь сочинил каламбур в честь друга-художника: «Исполать тебе, Ваня! Пришел ты, маленький человек, с берегов Невы в Рим и сразу поднял “Хаос” в Ватикане!»

В апреле 1841 г. Айвазовский докладывал в Академию художеств о своих работах и новых планах: «С тех пор как я в Италии, написал до 20 картин с маленькими, да нельзя утерпеть, не писать: то луна прелестна, то закат солнца в роскошном Неаполе. Мне кажется, грешно было бы их оставить без внимания... Теперь на днях здесь в Неаполе экспозиция. Я przygotowляю три картины к этому и потом три месяца лета буду только писать этюды с натуры, и между тем хочется съездить в Сицилию, а на зиму опять в Неаполь».

Лето и осень 1841 г. Айвазовский провел на берегах Неаполитанского и Салернского заливов – в Неаполе, Каstellамаре, Сорренто, Амальфи, на острове Капри. В начале следующего года он выехал из Неаполя и много путешествовал по Европе. Его маршрут шел через Геную, Швейцарию, по Рейну в Голландию, потом в Лондон, Париж и Марсель. Вторую половину года он много работал в Венеции, потом снова был в Париже и Лондоне, выставляя свои картины. В самом конце 1842 г. Айвазовский вернулся в Италию морем через Лиссабон, Малагу, Марсель. Побывал в Риме (где снова часто виделся с Гоголем), затем отправился на Мальту. Заграничный паспорт Айвазовского к тому времени вырос до редких размеров: к полуметровому листу-паспорту была подшита тетрадь в 47 листов, так же, как и паспорт, испещренные записями, печатями и прочими пометками (этот паспорт ныне хранится в Феодосийской галерее).

В 1841–1843 гг. Айвазовский снискал себе славу лучшего художника-мариниста в Европе. Еще в 1841 г., в петербургской «Художественной газете» знаток искусства, неаполитанец К. Векки писал: «Беспристрастно оценивая произведения Италии и прочих земель, спешу известить о присутствии в Неаполе русского живописца морских видов г. Ивана Айвазовского. Пользуясь дружбой Айвазовского, я посетил его мастерскую, которую он обогатил пятью картинами. Вдохновенный прелестным цветом нашего неба и нашего моря, он в каждом взмахе своей кисти обличает свой восторг и свое очарование».

Русский посланник в Неаполе граф Николай Дмитриевич Гурьев устроил просмотр картин Айвазовского во дворце неаполитанского короля Фердинанда II. Король лично принял русского художника в Розовой зале, где были развешаны полотна «Неаполь», «Амальфи» и особо понравившиеся королю картины Айвазовского с написанными им по памяти изображениями неаполитанского флота. Картины «Амальфи», «Неаполитанский флот» и «Буря» были приобретены Фердинандом.

В Ватикане Айвазовский был удостоен личной аудиенции престарелого папы Григория XVI, который наградил русского художника Большой золотой медалью. Работавший тогда в Риме Александр Иванов писал родным в Россию: «Айвазовский человек с талантом. Его “День Неаполя” заслужил общее одобрение в Риме: воду никто так хорошо здесь не пишет». А знаменитый английский

художник-маринист Джордж Уильям Тернер, также живший тогда в Риме, был настолько поражен картиной Айвазовского «Неаполитанский залив лунной ночью», что в письме автору выразил свой восторг стихами на итальянском языке: «На картине этой вижу луну с ее золотом и серебром, стоящую над морем и в нем отражающуюся... Поверхность моря, на которую легкий ветерок нагоняет трепетную зыбь, кажется полем искорок или множеством металлических блесков... Прости меня, великий художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел мною. Искусство твое высоко и могущественно, потому что тебя вдохновляет гений».

В 1843 г. в Париже Ивану Айвазовскому за серию морских пейзажей была присуждена Золотая медаль и звание академика. Впоследствии он стал также действительным членом Амстердамской, Штутгартской, Флорентийской и Римской Академий.

После возвращения художника в Россию в 1844 г. вышло Высочайшее распоряжение: «Художника Айвазовского причислить к Главному Морскому Штабу со званием живописца сего Штаба, с правом носить мундир Морского Министерства с тем, чтобы звание сие считать почетным». С экспедицией русского мореплавателя и географа графа Ф.П. Литке художник побывал в Турции, Греции, Малой Азии. Много бывал на Кавказе, ездил в Египет и даже в Америку.

Однако «итальянский период» начала 1840-х годов занял особое место в жизни Айвазовского. К своей ранней «амальфитанской теме» художник потом неоднократно возвращался: обладая феноменальной памятью, он в 1850–1860-х гг. несколько раз в разных вариантах воспроизводил пейзаж Амальфи.

«Русская Старина» в 1876 г. опубликовала составленный по-видимому самим Айвазовским список его картин, написанных в Италии и приобретенных различными галереями и частными лицами. Даже если ограничиться только картинами, имеющими отношение к неаполитанскому и амальфитанскому берегам, список этот весьма впечатляет: «1840: “Севастопольская эскадра на неаполитанском рейде” (у брата короля Неаполитанского); “Амальфи”, “Сорренто”, “Неаполитанский флот” (у короля Неаполитанского); “Буря ночью” (разыграна в лотерею и выиграна г-ном Лаурио); “Буря” (у короля Неаполитанского); “Шквал на море” (у графа Гурьева); “Морской вид” (у герцога Монтебелло); “Буря близ Капри” (у г-на Халахова); “Неаполитанская ночь” (у князя А.М. Горчакова) <последние четыре картины были на выставке в Риме>; 1841: два вида Неаполя (у графа Зубова); “Сцены на Неаполитанском рейде” (у г-на Энглафтейна, была на выставке в Риме); виды Неаполя (у генерала Бартона); то же (у лорда Молле); несколько малых картин в Неаполе: “Амальфи” и “Сорренто” (во дворце Александрии); “Капри при луне” и “Веккиа” (там же); 1842: “Ночь в



Неаполе” (у князя Витгенштейна); “Утро в Неаполе” (у графа Тышкевича); “Неаполитанская ночь” (у И.М.Толстого; была на выставке в Петербурге); два вида Неаполя (куплены в Вену); “Окрестности Неаполя” (у г-на Васильчикова); “Неаполитанские виды” (у княгини Долгоруковой); “Хаос” (у папы Григория XVI); морские виды (у княгини Гагариной) и т.д.».

## **АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МУРАВЬЕВ**

Муравьев Андрей Николаевич (30.04.1806, Москва – 18.08.1874, Киев) – духовный писатель и историк Церкви, путешественник, драматург, поэт. Почетный член Императорской академии наук (1836). Родился в семье Н.Н. Муравьева, известного математика, генерал-майора. Учился у Семёна Раича, ещё юношей переложил прозой, а затем и гекзаметром «Энеиду» Вергилия, затем «Телемака» Фенелона и несколько книг Тита Ливия.

Служил в егерском полку, участвовал в турецких войнах. Сдав в апреле 1828 г. экзамены при Московском университете, был определен в Коллегию иностранных дел. В 1829-1830 гг. как паломник посетил Египет, Иерусалим, Кипр, Константинополь. В 1832 г. вышло его «Путешествие к Святым местам», которое принесло Муравьеву известность в образованном обществе: книга была поднесена Императору Николаю Павловичу, в дальнейшем выдержала много изданий и была переведена на ряд языков. Состоял обер-секретарем Святейшего Синода; долгое время рассматривался как кандидат в будущие обер-прокуроры.

В 1845 г. побывал в Риме, Неаполе, посетил христианские святыни на амальфитанском побережье. Свои размышления об итальянской поездке изложил в письмах к своему другу – митрополиту Филарету (Дроздову). Изданные в 1846 г.

«Римские письма» Муравьева были поднесены Николаю I, готовящемуся к поездке в Рим и важным переговорам с римским папой.

«Письма» Муравьева – это заметки православного русского, поклонившегося святыням общеевропейской культуры и христианского мира. «Как объяснить вам первое впечатление Рима, особенно когда объемлешь взором его живописную громаду?» – вопрошает Муравьев в первой главе своих «Римских писем». – «Это Москва, но без Кремля, хотя и с Капитолием!... То же бесчисленное множество куполов и отчасти колоколен, хотя и не златоглавых как в нашей белокаменной, те же сады и поляны внутри среди города, но украшенные чудными развалинами, и как бы подмосковные виллы вокруг, зеленый пояс обеих столиц; и тот же скромный ток воды проникает насквозь державного города, иногда свиваясь в кольцо, символом его вечности, иногда разбегаясь по приволью пустыни, под сенью древних башен или уединенных деревьев».

Однако, по мнению Муравьева, «таков Рим для русского глаза, но не для русского сердца»: «Здесь надобно на время заглушать сладкие воспоминания родины и самое чувство православия, если хочешь безотчетно погрузиться в эту бездну минувшего, в этот хаос настоящего, где еще досель так перемешано язычество с Христианством. Нет ничего отеческого для нас, в этом так называемом сердце вселенной, которое уже иссохло от дряхлости и едва ли сохранило всю горячность родительских чувств и для западных детей своих.

Так мы видим старцев, в коих чувство собственного сохранения заглушило прочие, потому что они пережили самих себя и свой век. Рим – великолепное кладбище, по которому ходят тени минувших веков, и еще владеют над живущим поколением».

Из Рима Муравьев со спутником предприняли поездку в Неаполь: их главной целью было посещение Амальфи, где в Соборе Св. Андрея хранились мощи почитаемого Муравьевым своего Небесного покровителя Святого Апостола Андрея Первозванного. Путь русских паломников лежал через Салерно: «В полдень выехал я из Неаполя и достиг скоро станции Нучера, древней Нуцерии, где теперь кончается железная дорога, по направлению в Салерн <Салерно>. Недалеко оттоле селение Св. Марии представило мне любопытную развалину древнейшей Христианской крещальни, обращенной из языческих бань, в святилище просвещения духовного... Местное предание приписывает ее Императору Константину; говорят, будто бы, здесь окрестил он многие тысячи язычников».

Побывали путешественники и в одном из крупнейших в Италии монастырей Ордена бенедиктинцев в Кава-ди-Тиррени: «Иноки Бенедиктинские свили себе выпретенное гнездо на вершине горы, покрытой лесом, там где малый ручей, пробиваясь из утеса, образует своим падением, с камня на камень, малую ложбину в чаще деревьев. Нельзя было избрать места более очаровательного и удобного, для ученых любителей безмолвия, каковы были

дети блаженного Бенедикта, и их обитель заняла едва ли не второе место после родоначальной на горе Кассино <Монте-Кассино>».

В Салерно главной целью паломников был Собор св. Матфея: «Мы спустились по широкой лестнице в подземную великолепную церковь, где покоятся под спудом мощи Св. Апостола и Евангелиста Матфея. Она была освящена лампадами и усеяна цветами; народ толпился около главного престола. Я спросил о причине торжества, и мне отвечали, что в этот самый день празднуется память перенесения мощей Евангелиста в Салерн (6 мая)... А я подумал, во глубине души: “ах, если бы и Св. Апостол Андрей Первозванный, мощам которого хотел я поклониться в Амальфи, встретил меня какую-либо духовною радостью!”, но не смел высказать своей мысли. С благоговением поклонился я пред алтарем сооруженным над мощами Евангелиста, которые под спудом, как и все мощи на западе. Сквозь малое отверстие, за решеткою, видны были лампы на каменной полите, покрывавшей самую раку, и над нею серебряное устье, из которого доставали накануне, хлопчатую бумагу, так называемую манну, или влагу от мощей Апостольских».

Утром следующего дня русские путешественники отправились из Салерно в Пестум: «Бледная лихорадка бродит все лето по его <Пестума> обломкам, которые сторожит жадная толпа болезненных детей; они протягивают руки за милостынею и предлагают взамен открытые ими монеты...

Невольное чувство уныния проникает душу. Потрясенную величием развалин и безмолвием пустыни, и зрелищем этих болезненных призраков, обреченных на летнее пиршество смерти, когда придет она дожидать свое поле; но посреди сего дикого запустения, много есть высокого и поэтического, говорящего сердцу глаголом иных времен».

Возвратившись поздним вечером из Пестума в Салерно, Муравьев со спутником отправились ранним утром в Амальфи, наняв шестивесельную лодку: «Море еще накануне бурное, голубым зеркалом разостлалось перед нами, иногда только тревожимое вдоль берегов беспокойною волною. Салерн просыпался в лучах яркого солнца, весь дальний берег Пестума утопал в утренних туманах; но на ближних утесах поморья, мимо коих быстро неслась окрыленная ладья, живописно появлялись, одно за другим, роскошные селения, с своими виноградниками, раскинутые по горам, иногда осененные высокою колокольнею. Глубокий овраг разделял надвое красивый городок Виетри, чрез который мы ехали накануне, из обители Кавы. Далее приютилось в ущелье, на самом берегу моря, селение рыбаков Цитра с своею скромною церковью. Потом вдаль в море утесистый мыс, увенчанный готическими башнями, а позади его выло море, как вторая Скилла <Сцилла>, и от прибоя волн образовалась глубокая пещера, блестящая своими сталактитами».

Муравьев оставил в русской литературе по сути первое подробное описание окрестностей Амаль-

фи: «Вот и очаровательный залив, оживленный тремя богатыми селениями: Минори, Майори и Атрани, родиною Мазаниелло, которые почитались всепредместиями Амальфи во дни его республиканской славы. С чувством народной гордости указал нам один из гребцов наших на дом знаменитого рыбака и минутного властителя Неаполя, Мазаниелло, стоявший над пещерою на верху горы. Память его еще свежа в сердце народном, хотя так горько кончил он свое поприще! Подле Атрани, но за горою, внезапно предстал Амальфи, в своей узкой долине, столь очаровательной для взоров, массою зелени и белых домов и диких башен, раскинутых по утесам, и самую картиной города, который, однако, мало сохранил следов своего древнего величия».

Как только лодка пристала в порту Амальфи, Муравьев решил немедленно осуществить свою давнюю мечту: «Первым моим движением было устремиться в собор, где почивают мощи моего Ангела, Апостола Андрея Первозванного, перенесенные из Царьграда». Внутренний вид Собора поразил его: «От самого престола и до архиерейской кафедры, в так называемом хоре, где у нас алтарь, сидел весь соборный клир, в праздничных ризах; народ толпился в ярко освещенном храме... Отчего здесь такое торжественное собрание? – спросил я своего проводника. – Сегодня память перенесения мощей Св. Апостола Андрея, из Константинополя в Амальфи, – отвечал он. С радостным изумлением взглянул я на своего товарища. Итак,

мое желание исполнилось, – сказал я, и здесь встречает нас торжество духовное, как и в Салерне, но оно тем сладостнее моему сердцу, чем ближе для меня мой Ангел».

Именно из описаний Муравьева многие русские впервые узнали о хранившейся в Амальфи общехристианской святыне: «Мы спустились, тридцатью мраморными ступенями, в подземную церковь, которая находится под главным алтарем. Там уже стоял священник, над гробовым престолом, читая входные молитвы. Я стал на колени с народом, возле решетки, все молились усердно; хотя обедня совершалась безмолвно, и с чуждыми для меня обрядами, но мне отрадно было видеть освящение даров, над мощами моего Ангела, который засвидетельствовал своими мучениями, истину приносимой жертвы; невольно плакал я и молился, как бы у себя, потому что душа моя исполнена была святынею места. “Ах, если бы я мог получить здесь какую-либо икону! – подумал я, как это бывает в православной нашей родине, с каким бы утешением принес я домой такое благословение, от мощей Апостольских!” Я решился попросить себе хотя несколько хлопчатой бумаги, которую опускают во дни праздников, чрез отверстие каменной гробницы, на самую раку, источающую так называемую манну, по местному благочестивому преданию. Когда же священник, сказав окончательное: “ite missa est” отпустил с благословением народ, я воспользовался его удалением от престола, чтобы ближе припасть к священному гробу.

При свете неугасимой лампы было видно сквозь решетку, под алтарем, серебряное устье на каменной плите. Но если закрыта сама рака, по обычаю западному, где святыня мощей всегда находится под спудом, то нет ни малейшего сомнения о пребывании здесь нетленных останков Апостольских; ибо по летописям церковным достоверно известно, что святые мощи перенесены были сперва из Патраса, где окончил свой подвиг Первозванный Апостол, в Царьград Императором Константином, в 336 году, и поставлены там в соборном храме Св. Апостолов. Когда же в 1204 году крестоносцы овладели Царьградом и расхитили большую часть святыни восточной, то некто Петр, благородной фамилии Капуанской, родом из Амальфи (где его дядя по имени Матфей был в то время Архиепископом), будучи сам Легатом папским при стане крестоносцев, испросил у Папы Иннокентия III позволения перенести мощи Первозванного в свое отечество, и это совершилось в 1208 году, 8-го Мая, день поныне празднуемый в Амальфи, в который Бог меня сподобил поклониться гробу моего Ангела».

Обращаясь к своим соотечественникам, Андрей Муравьев делает важное умозаключение: «Странно, однако, что мы, Русские, для которых особенно должна быть священна память сего великого Апостола, водрузившего первый крест на горах Киевских и предрекшего грядущую славу нашей родины, мы русские не знаем о нахождении святых мощей в Амальфи, хотя однако многие странствуют

гораздо дальше в Бари, на поклонение Святителю Николаю».

Поразила Муравьева и прекрасная панорама, открывающаяся от Собора Св. Андрея: «Очаровательный вид открывается с его высокой паперти на дикие утесы, увенчанные башнями, в расселины коих втеснился живописный город, омываемый мирными водами своего залива, и долго я не мог оторвать взоров от сего чудного зрелища».

После посещения Собора проводник предложил гостям посмотреть на еще одну достопримечательность Амальфи: «По выходе из храма провожатый повел нас в так называемую долину мельниц <Valle dei Mulini>, необычайную по своей красоте, ибо там быстрый кристальный поток, который оживляет собою Амальфи, шумно стремится из ущелья и, падая, бесчисленными каскадами, из-под движимых ими колес, голосом вод своих наполняет город и долину; а над ним живописно склонились увесистые горы, усеянные виноградниками и древними замками».

Немного отдохнув в гостинице, путешественники отправились пешком в «живописное селение Равеллу»: «Мы пошли берегом моря, мимо селения Атрани, родины Мазаниелло, а оттоле стали подниматься в Равеллу <Равелло>, сперва по ступеням, между домов и церковей, а потом по каменной дороге, живописно пролежавшей между виноградниками, также по берегу горного потока, чрез который должны были часто переходить. Наконец, с большею усталостью, достигли выспренного се-

ления, которое прикикло, как орлиное гнездо, к темени утесов, господствуя над морем и всеми окрестностями. Византийские церкви, башни Готические, древние дома в Мавританском вкусе, ясно свидетельствовали, что убогая ныне Равелла пользовалась некогда благосостоянием и даже роскошью, и точно это был город укрепленный местностью и стенами, который помещал в себе пятьдесят тысяч жителей».

Осмотрев виллы Руффола и Чимброзо, Муравьев со спутником зашли в местный Собор Св. Пантелеймона: «Предание говорит, что здесь была прежде обитель иноков Греческих, которые впоследствии принуждены были уступить Римлянам и храм свой, и фиал мученической крови святого Пантелеймона».

После окончания экскурсии по Равелло проводник загадочным шепотом предложил Муравьеву приобрести у него некую «древность»: «Сколь велики были моя радость и изумление, когда я увидел старинную икону Божией Матери с предвечным Младенцем, девятого или десятого века, искусно вырезанную на слоновой кости, с Византийскими столбиками по сторонам, и венчиком на них лежащим; она вся пожелтела от древности и раскололась в нескольких местах, но сохранила прежнюю красоту». Проводник рассказал, что икона принадлежит одной бедной женщине, «которая ее отыскала в развалинах церкви, подле своего дома, около четырех лет тому назад» и отдала ее проводнику для продажи иностранцу: «Англичанам

я не хотел ее отдать, потому что они не уважают икон, а Католикам не случилось; вам же мне пришлось на мысль предложить ее, еще в церкви...». «С радостью приобрел я сие сокровище, – писал Муравьев, – и мысленно благодарил моего Ангела, который так скоро исполнил пламенное желание моего сердца, и послал мне благословение от своих мощей».

В гостинице в Амальфи, куда вернулись путешественники, уже были приготовлены ослы для обратного горного перехода в Каstellамаре: «Мне хотелось прежде сходить в собор и положить там икону на гроб Апостола; но проводник мой уверил меня, что это невозможно, потому что до пяти часов церковь бывает заперта, а время не позволяло медлить, чтобы успеть достигнуть до ночи в Каstellамаре... Так я оставил Амальфи, но сердце мое не оставалось спокойным, потому что я не совершил желаемого. Подымаясь на крутые утесы прибрежной дороги, я с каждого из них озирался, не увижу ли еще высокой колокольни собора? И мне грустно стало, когда она скрылась совершенно из моих взоров».

Был уже поздний вечер, когда измученные путешественники добрались до Каstellамаре, а на следующее утро («еще до зари») Муравьев отправил одного из проводников назад в Амальфи, «чтобы попросил кого из клира соборного, освятить для меня икону, и он принес ее мне обратно в Неаполь со свидетельством от Викария Архиепископа, что икона сия, называемая Константинопольскою

Божиею Матерью, действительно освящена была 9-го мая, на гробе Первозванного Апостола».

С именем Св. Апостола Андрея Первозванного была тесно связана и дальнейшая жизнь Андрея Николаевича Муравьева. Именно его хлопотами келлия афонского Ватопедского монастыря близ Кареи в 1849 г. была преобразована в самоуправляющийся скит с русскими насельниками; в 1867 г. там был заложен собор во имя Андрея Первозванного (освящен в 1900 г., уже после смерти Муравьева).

После новых паломнических путешествий и многих литературных и общественных трудов, принесших ему заслуженную славу, А.Н. Муравьев, выйдя в отставку в 1866 г., поселился в Киеве близ Андреевской церкви, на вершине знаменитого «Андреевского спуска». Когда в высших кругах Российской Империи возникли планы радикальной градостроительной переделки Киева и само существование Андреевской церкви было поставлено под угрозу, Муравьев приложил огромные усилия и все свое влияние для сохранения выдающегося памятника. После своей кончины в 1874 г. А.Н. Муравьев был погребен в подземной части Андреевского собора.

## **ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ЯКОВЛЕВ**

Яковлев Владимир Дмитриевич (1817, Санкт-Петербург – 3.11.1884, Санкт-Петербург) – поэт, переводчик, путешественник, мемуарист. Недолго обучался в Императорской академии художеств, потом в Петербургском педагогическом институте, но курса не окончил. Преподавал в приходских училищах, работал журнальным корректором, печатал стихи и рассказы в духе романтизма. Кумиром его юности, как он признавался впоследствии, был Сальватор Роза – неаполитанский художник, поэт и актер, философ и бунтарь по натуре. Яковлев – сам бедный поэт, болезненный и почти неизвестный, часто повторял про себя популярное в 1830-х гг. стихотворение одного из столпов русского романтизма, учителя Жуковского Семена Раича «Жалобы Сальватора Розы»:

Что за жизнь? Ни на миг я не знаю покою  
И не ведаю, где приклонить мне главу.  
Знать, забыла судьба, что я в мире живу  
И что плотью, как все, облечён я земною.

Я родился на свет, чтоб терзаться, страдать,  
И трудиться весь век, и награды не ждать  
За труды и за скорбь от людей и от неба,  
И по дням проводить без насущного хлеба...

Но в конце 1846 г. случилось чудо: о Яковлеве узнал сам наследник русского престола, великий князь Александр Николаевич: у его супруги, великой княгини Марии Александровны, жена Яковлева до замужества служила любимой камер-девушкой. Сама А.И. Яковлева, выпускница Елизаветинского института благородных девиц, дочь Иоганна Утермарка, изобретателя новейшей «голландской печи», обогревавшей пол-России, – тоже человек интересный. Посвятившая жизнь семье, она после смерти мужа написала мемуары «Воспоминания бывшей камер-юнгферы императрицы Марии Александровны», опубликованные в 1888 г. в нескольких номерах «Исторического вестника». Как бы там ни было, наследник-цесаревич Александр Николаевич, сам воспитанник Жуковского и любитель романтической поэзии, пожаловал тогда молодому мужу придворной любимицы большую сумму – пять тысяч рублей серебром для лечения за границей. Владимир Яковлев потратил эти деньги на поездку в Италию летом 1847 г., о чем оставил подробные мемуары.

В своем большом итальянском путешествии (он посетил Венецию, Флоренцию, Рим, Ливорно, Пизу, Каррару, Сардинию, Геную, Милан) Яковлев почти месяц провел на берегах Неаполитанского и Салернского заливов, воспетых Сальватором Розой. Он приехал в Неаполь из Рима в конце июля 1847 г. и поселился в престижном «Hotel de Russie», платя за комнату с видом на залив 4 неаполитанских серебряных карлина в сутки. С балкона был

отлично виден Везувий: «Когда я приехал в Неаполь, Везувий дремал. Днем, над ним лениво клубился дымок, белый, как страусовое перо; ночью, когда море исчезало под темною синевою сумрака, и у подножия горы, вдоль берега, засвечивались огоньки, вулкан по временам выкатывал из своего жерла багровую звезду пламени, которая, блеснув на вершине, быстро потухала. Эти грозные огненные вздохи под небесами, и эти мирные вечерние огоньки внизу; сонный залив, и шумный, суевающийся, осыпанный газовыми огнями Неаполь – все это сливалось в магическую картину, от которой невозможно отвести глаза».

Везувий производил на Яковлева завораживающее впечатление: «Плыву ли я в алой барке по заливу, или брожу по мертвым улицам Помпеи; люблюсь ли тарантеллой на террасе дома или отдыхаю под пальмой на Капо-ди-Монте, глаза мои не расстаются с Везувием. Всюду – и между разрозненными колоннами разрушенных храмов, и в глубине аллей, обвитых виноградными гирляндами, – на голубом фоне неба рисуется он, как грозный дух тьмы, посреди светлого, улыбающегося эдема».

В своих путевых записках Яковлев отметил, что 1 августа 1847 г. Везувий вдруг оживился: «Вечером, когда солнце готово было опуститься за величественные скалы Искии, над заливом, с вершины Везувия на лиловые холмы Сорренто, перекинута была гигантская арка дыма, золотимого вечерним светом. Можно было судить о работе вулкана за целый день; но так как огня днем не видно, то лю-



бопытные иностранцы не могли дождаться сумрака. Десятки Плиниев с борта французских кораблей, поплыли в своих тулонских либурнах наблюдать извержение...».

Отправился к Везувию и Яковлев: «Толпа людей, с накинутыми на одно плечо куртками, атаковала меня на улице: толщина моих подошв была подмечена, намерение мое взобраться на Везувий – открыто... С криком на все существующие и несуществующие лады, смуглые, мускулистые парни, геройски навязывались в проводники; возницы изо всех сил хлопали бичом, зазывая меня в свои повозки; другие, нимало не соображаясь с размерами моих членов, совали мне в руку поводья оседланных лошаков и ослов, которые были неприличного роста дворовой собаки».

Готовясь к поездке, Яковлев перечитал груды литературы об Италии и полагал, что хорошо осведомлен об опыте других путешественников. Поэтому для восхождения на Везувий он предпочел обратиться в официальную фирму – «контору патентованных вожатых». Но и здесь возникли проблемы: «Проводник объявил, что следовать ему за мною пешком нет ни малейшей возможности, и что я должен выдать ему шесть карлинов для найма осла. Деньги отсчитаны, но лишь только итальянец положил их в свой карман, как почувствовал особенную, до той поры не подозреваемую легкость, прыть в ногах, и стал уверять меня, что ему было бы лестно бежать за мною пешком, лишь бы сбересть шесть карлинов, которые он не привык тра-

тить на такие пустяки... Я был неумолим, как филантроп, и заставил бедняка сесть на осла».

Яковлев подробно описал восхождение: «Мы ехали между виноградниками, которыми покрыта подошва Везувия. Далее – серая, угрюмая пустыня. Это море лавы, некогда бушевавшее... Часа через два езды мы были на платформе San Salvatore. Это маленький оазис посреди безмолвной пустыни; несколько деревьев отеняют каменный домик. Здесь меня встретили две почтенные особы, анахореты по одежде, трактирщики по ремеслу. Как усталому страннику, они поспешили оказать мне гостеприимство, и на столе явилось бутылка *Lacryma Christi*». Ироничные отзывы об этом вине, изготовляемого из местного винограда, – общее место в мемуарах путешественников, не только русских. Отдал дань этой теме и Яковлев: «Уже в Неаполе я познакомился с этим вином: огонь неаполитанского неба и вулканическая почва, на которой зреет виноград, придают этой золотистой влаге какое-то одуряющее свойство».

Вершины Везувия путешественник достиг уже в темноте: «Ноги тонут в сыпучей золе, но я шагаю с энергией отъявленного туриста и оставляю проводника далеко за собою. Чтобы подвинуться вперед на шаг, надо шагнуть три раза... Ветер потушил мой факел. Я продолжал подниматься среди глубокого мрака. Вдруг путь мой озарился адским блеском. Я был уже во владении огня: желтые следы его прикосновения заметны здесь на каждом камне; но ни кратера, ни пламени не видно до той

минуты, покуда не ступишь на вершину... Часть площадки, отделявшей меня от кратера, волновалась; толстая кора вулкана лопалась, раздиралась на поломы, на мелкие куски; широкие трещины сияли кровавым огнем, и из них со свистом вырывался густой, желтый дым. Вдруг облако дыма над кратером побагровело, послышался шум подземных громов, вся громада Везувия страшно дрогнула, и широкий сноп ослепительного огня вырвался из жерла. Багровые шары высоко взлетели к небу, посреди огненного дождя пепла: это раскаленные камни, кубы фута в два величиною, отрывающиеся силою огня от внутренних стен кратера. Я покушался взобраться на самый конус, до края широкой бездны, но колебавшаяся под моими ногами кора кратера и новые взрывы вулкана остановили меня на полпути. По скользким сугробам золы я скатился назад на площадку, ошеломленный, черный, опаленный».

В один из дней Яковлев решился на дальнейшее путешествие: из Сорренто – через горный перевал – к Амальфитанскому берегу. «Намереваясь посетить Амальфи, я избрал один из горных путей к Салернскому заливу: это полудорога, полулестница, то иссеченная ступенями по утесам, то извивающаяся по холмам, по теснинам и долинам; своя равная тропинка то уносит вас под облака, то пускает в пропасть. Это, конечно, не всегда удобно, зато всегда живописно». Как обычно в таких случаях, он взял местного проводника и нанял мула: «В горных прогулках мул так же необходим и почти

так же неутомим как верблюд в пустыне. Это малорослое, но бодрое и сильное животное, кажется, понимает, что без него здесь обойтись трудно. Редкий мул не повинуется голосу погонщика. Надо заметить, что у каждого мула есть собственное имя, и в ответ на зов, он обыкновенно шевелит ушами. Названия даются по шерсти или сообразно с качествами характера, как у нас в старину давались действующим лицам комедий».

Однако, поднявшись на самую высокую точку перевала, путешественник предпочел далее двигаться пешком: «От Сорренто до Амальфи часов восемь пути, для ходока, знакомого с местностью. Но прямая дорога меня отнюдь не прельщала. Поднявшись на живописные и суровые скалы, я отпустил и мула, и проводника, который за лишнюю монету, покушался благодарить меня целованием руки. Расставаясь с ним, я осведомился о направлении дороги, с твердою готовностью заблудиться при первом удобном случае».

Эта «готовность заблудиться» была характерной чертой Яковлева-путешественника, что делает его путевые заметки особенно интересными: «Я редко спрашиваю дорогу: хотя часто заблуждаюсь, зато вижу много оригинального. Доверившись проводнику, рискуете видеть только то, что *он* считает достопримечательным. А опытом дознано, что такому существу достопримечательнее серебряного пиастра кажется только одно: золотой империял. Я стараюсь, по возможности, уклоняться от больших дорог: только таким способом и можно

поближе познакомиться с этой прекрасною землею и с ее народом, который так часто бывал оклеветан путешественниками, имевшими дело единственно с трактирной челядью и чичеронами <проводниками>. Аристократическое путешествие из миланских гостиных во флорентийские, римские и неаполитанские гостиные – также не дает вам почти никакого понятия о национальном характере, об особенностях и предрассудках каждого племени: в европейских гостиных господствует род внешне-го космополитизма, который называется хорошим тоном; с законами его сообразуются все столицы цивилизации. Национальные предания сохраняются неприкосновенно только в той части населения, которая называется “народом”. Хотите узнать степень его довольства или бедствования, хотите видеть все то, о чем путешественники обыкновенно умалчивают, – вмешайтесь в толпу, поживите жизнью народной массы».

Уже на спуске к Амальфитанскому побережью Яковлев попал в небольшое селение: «Взор мой падал в глубокие стремнины и на бесприютные скалы. С редким удовольствием я, наконец, заметил под собой деревушку, прилепленную к бедру горы... Молоденькие девушки, с веселыми речитативами, со звонким хохотом, полоскавшие белье в античном саркофаге, встретили меня как пришельца с луны. Некоторые подставляли свой кувшин под кристальную струю водомета, падавшую в этот овальный бассейн, иссеченный из восточного гранита, и, застенчиво улыбаясь, пред-

лагали мне освежиться. С античною грацией эти загорелые красавицы поднимали кувшин на голову, слегка поддерживая его одной рукой и, опираясь о пышно развитое бедро, расходились по гористым переулкам, которые местами иссечены в скале ступенями. В поступи южных женщин заметно врожденное благородство и привлекательность невыразимая. Несмотря на крайнюю небрежность наряда вообще, эти молодые женщины обличают род классического вкуса в уборке своих иссиня-черных и всегда прекрасных волос: длинные и густые косы с трудом придерживаются колоссальной бронзовой булавкой, которая, в случае надобности, с большим успехом исполняет назначение стилета. Эта смесь грации и нищеты, босых ног и изящной прически встречается только на юге».

Яковлеву не давала покоя загадка гения Сальватора Розы и других итальянских талантов, родившихся в этих местах: «Эта щедрая почва производит немало поэтов и импровизаторов; ясность здешнего неба сообщается и душе, как будто эта улыбающаяся природа приучает смотреть на жизнь с улыбкою и равнодушием. Можно подумать, что все эти сонеты, канцоны и импровизации созданы посреди восточного покоя, где в продолжение целых столетий, не слышно ничего, кроме шелеста пальмовых листьев да шума морских волн. Я сам уже чувствовал на себе влияние этого магического неба. Я сидел на обломке скалы, как очарованный. Человек не создан жить наедине с горами, с морем, с цветами; но с таким морем, с

такими живописными утесами, посреди этой не-отцветающей растительности, мне казалось, я мог бы прожить целые годы».

Спустившись к морю в Виетри, Яковлев нанял лодку до Амальфи: «Эти лодки имеют свою особенную физиономию, которая не встречается на других морях. Их коротенькие мачты с длинными латинскими парусами и вообще изящная форма судна достаточно говорит о чрезвычайной их легкости на ходу. Никогда я не знал морской прогулки очаровательнее. Мы плыли вдоль живописнейших скалистых берегов, о которые с шумом и пеной разбивались прекраснейшие зеленовато-синие волны. На вершинах этих приморских гор группы разноцветных домиков, прихотливой архитектуры, выглядывают из-за виноградников, поддерживаемых пилястрами; другие прилеплены на отвесных утесах словно гнезда морских орлов... Любо посмотреть, как моряки, разделенные волнами, разговаривают между собою посредством разных телеграфических движений руками и пальцами. Вообще обитатели этого берега, лишенные и тени образования, народ смышленный, даже остроумный, и весьма возможно не подвергать никакому сомнению свидетельство, что компас, этот надежнейший путеводитель моряка, изобретен гражданином города Амальфи».

Наконец, лодка достигла Амальфи: «Лодка вошла в залив, обставленный громадными золотистыми массами крутых утесов; справа, на страшной высоте навис полуразрушенный замок, слева

возвышается над городом старинный монастырь капуцинов, полуиссеченный из скалы. Но самый город Амальфи создан как будто своенравным художником. Вообразите город, разбросанный по скалам в изумляющем беспорядке; разноцветные здания, перемежающиеся массами зелени; дома, выдающиеся барельефами с отвесной стены гор; затейливую, полувосточную архитектуру в соединении со всею роскошью голубого неба, поэтического моря и почти африканской растительности; а на заднем плане Апеннины, поднимающиеся гигантским амфитеатром к безоблачному небу».

Едва Яковлев ступил на берег, «толпа носильщиков, лодочников, чичеронов оглушила самыми неистовыми предложениями услуг всякого рода»: «Такого шумного приема я не испытал даже в Неаполе. С немалым изумлением заметили они, что дерзкий иностранец не был расположен подвергаться их услужливости и без посторонней помощи отыскал гостиницу». Видимо, из туристских путеводителей Яковлев знал, что лучшим отелем для иностранцев в Амальфи считается отель на горе, в комплексе старинного капуцинского монастыря – он был отлично виден из бухты. Увы, монастырь уже несколько лет как был снова передан монахам, и Яковлеву пришлось перебираться в небольшой отель еще выше в гору. Удивительно, но все это время шумная кампания провожатых не отставала от него: «Со стоическим спокойствием, несколько часов они дожидались меня на улице и при моем выходе решительно потребовали платы

за все потраченное ими для меня время. При моем упорстве в случае подобных вымогательств, сцена представляла немало комизма; к сожалению, услужливые Амальфитанцы скоро предпочли мне трех новоприбывших Англичан и перенесли на них весь интерес действия...».

Яковлева, разумеется, удивило, что прославленный некогда город Амальфи, столица богатейшей республики, в которой в лучшие годы проживало более 50 тысяч человек, ныне выглядит «просто живописным селением»: «Я не вижу, каким образом помещалось здесь это огромное количество граждан. Нынче их не насчитывают их и трех тысяч, а между тем на этих неприступных, поднимающихся к небу утесах, в этих диких романтических ущельях немного лишних удобных мест для селитвы. Немного также здесь и следов развалин, которые подтверждали бы предположение, что нынешний город занимает собою едва шестую часть прежнего. Впрочем, по свидетельству летописцев, страшная буря в 1013 году разрушила стены и башни здешнего порта и уничтожила целый квартал нижнего города... Море гложет эти скалы беспощадно. Я видел, с какой неодолимой силой море подтачивало и отрывало целые каменные массы».

«Единственным представителем былого богатства Амальфи», по словам Яковлева, является его знаменитый Собор Св. Андрея – «массивное и оригинальное здание в норманно-византийском стиле»: «Этот храм богат мраморами и остатками политеизма, как почти все итальянские храмы.

Прекрасна античная порфировая ваза, в которой ныне хранится святая вода; не менее изящен порошний древний саркофаг, с замечательным рельефом, изображающим похищение Прозерпины. Вот почти все, что пощажено временем и сохранилось здесь от эпохи богатства города. Но зато Амальфи вечно обладает сокровищем, которое прекраснее и нетленнее всевозможных памятников – дивно-поэтической природой».

Рассказал Яковлев в мемуарах и о своей жизни в отеле «Locanda de Carmela Palombo» на Strada Ferraro, где он остановился в окружении английских туристов и платил за комнату с трехразовым питанием 7 серебряных карлинов в сутки. «Из окна моей локанды живописец открыл бы дюжину пейзажей, один другого восхитительнее; но крутая, едва не отвесная лестница, по которой надо карабкаться в этот нагорный приют, понравится не всякому». Но, как заметил Яковлев, «под этим поэтическим небом, в четырех стенах не сидится»: «Незаметно я перенимаю привычку этого народа жить на улице, по-восточному. В узких проходах между домами вы найдете тень с утра до заката, исключая разве полудня. Кроме того, почти на каждом шагу продавцы плодов, замороженной воды и шербетов настойчиво предлагают вам освежиться. Их подвижные лавчонки кокетливо украшены гирляндами зелени, в которой блещут золотистые померанцы. Тут найдете бесподобнейшие апельсины, фиги, финики, абрикосы, сливы, персики, – и все эти плоды группированы с особенным вку-

сом, до неимоверности приманчиво, или сорванные вместе с ветками и листьями, обвиваются около колонн гирляндами, висят вкусными фестонами; а колоссальные арбузы сложены под столом в пирамиды, точно бомбы».

Досаждали русскому путешественнику разве что местные «продавцы антиков»: «Толпа босоногих зевак в красных шерстяных колпаках, с обнаженными до плеч руками, окружила меня и рассматривала как невидаль. Иностранец для нищих здесь тоже, что сахарная приманка для мух. Но тут нищенство действовало по правилам коммерции. Каждый предлагал мне купить что-нибудь: черепок какой-то глиняной вазы, обломок капителя или просто кусочки мраморных мозаик, найденные где-нибудь в разрушенном храме или в разоренной гробнице. Остроумнейшие, с таинственной улыбкой, предлагали мне бронзовых Приапов, весьма удачно подделанных. В Неаполе существуют фабрики для изделия древностей. Эти заведения поддерживаются в цветущем состоянии примерным усердием британских антиквариетуристов. Поглядев на все эти вещицы, я отдал должную справедливость искусству, с каким они подделаны. Продавцы обиделись; поглядели на меня с улыбкой сожаления, как на сущего невежду в археологии, или как на человека, добровольно отказывающегося от возможности приобрести сокровища – за бесценок».

В один из дней хозяин отеля («весьма изобретательный на средства удерживать жильцов

в своей подоблачной локанде») пригласил постояльцев посмотреть местный праздник, «образчик народных потех и веселья»: «Сборище было на небольшой террасе, под густым наметом из виноградных листьев; в прозрачно-зеленой раме этих лоз, обвивающих белые пилястры... Мужчины принесли с собою гитары, девушки пришли с бубнами и кастаньетами. Я, разумеется, обратил все мое внимание на молоденьких Амальфитанок. Но, вы обманулись бы в надеждах, точно так же, как и я, если бы стали искать здесь рафаэлевских или мурильовских головок. В этих лицах я замечал энергическое выражение страсти, но большею частью отсутствие красоты и нежности. Зато, взглядевшись в их грациозные и гибкие члены, вы убедились бы, что красотой лица можно пренебречь, забыть ее, для красоты пластически-развитых форм стана».

Описание итальянских праздников – одно из самых ярких мест в мемуарах Яковлева-путешественника: «Гитары зазвучали, бубны загремели; пестрая толпа расступилась, образовала маленькую арену, и ловкая пара выпорхнула на середину, с легкостью и грациозностью. Каких вы не ожидали бы от простых горожан. Наконец, между танцующими я заметил одну молодую женщину, обольстительную, как гверчиновы сивиллы... Никогда не забыть мне этих магических черных глаз этого бархатистого лица, покрытого легкой золотистой тенью и всею роскошью румянца». Танцевали, разумеется, тарантеллу: «Вы знаете эту страст-

ную, меланхолическую и вместе неистовую пляску. Неаполитанки пляшут свой национальный танец не одними ногами, а всеми мускулами, суставами, головой, глазами. Каждый хотел, по-видимому, превзойти всех до восторженности. Плясали – до изнеможения. Утомленная пара заменялась свежей. Женские груди волновались; мужчины срывали с своей шеи легкие платки, потому что куртки уже давно были сброшены. Очередь дошла до меня... Я, разумеется, отказался».

Дело, однако, этим не закончилось: «Как Азиатцы не понимают того, чтобы порядочный человек стал трудиться танцевать, особенно, когда он в состоянии заплатить танцовщицам; так Неаполитанец не понимает, чтобы можно было смотреть на пляску и не принять в ней участия. И хозяин и гости, опьяненные несравненно больше пляской, чем легким вином, которым беспрестанно прохлаждались, приступили ко мне, как к человеку, который отказывается от удовольствия единственно из застенчивости. Им и в голову не приходило, чтобы кто-нибудь мог не знать тарантеллы. На мое искушение, кто-то подвел ко мне прелестную Амальфитанку, звезду праздника, которая пристально и простодушно глядела мне в глаза своими большими бархатными глазами, нимало не подозревая их губельного влияния... Я чувствовал, что все члены мои были наэлектризованы, мускулы напряглись и сжимались сами собою; голова моя закружилась... Я уже плясал тарантеллу!...Сомневаюсь, чтоб вы поступили благоразумнее».

Яковлев прожил в Амальфи две недели и много ходил пешком: «Окрестности Амальфи созданы для живописца; но не многие из пейзажистов, посещающих этот блистательный берег, по примеру Сальватора Розы, углубляются во все пустынные и неприступные места здешнего горного лабиринта, вероятно, из опасения простыть бандитами, или даже из скромности, не желая быть избранными в их предводители... Потому-то живописцы до сих пор уверены в том, будто Сальватор изучал природу, предводительствуя шайкою разбойников; между тем как этот гениальный человек всю молодость свою провел в нищете и злополучии».

Проплыл Яковлев на лодке и все амальфитанское побережье, посетив Атрани, Майори, Минори, Позитано. В своих восторгах он опять не удержался от ссылки на своего кумира: «Это ряд блистательных пейзажей во вкусе Сальватора Розы». Интересны его описания ночного залива: «Мрак в южных странах глубок только в первый час по закате солнца. Позже, даже и безлунная ночь позволяет различать предметы. Южная природа любит блеск, как красавица. Небо сверкает звездами; воздух – мириадами светящихся насекомых, этих живых искр; волны – фосфорическим сиянием. На волнах залива каждое судно зажигает свой фонарь, каждая рыбацья лодка зажигает свою смолистую лучину, и отражение всех этих огней золотистыми витыми столпами падает в тесные, едва дышащие волны».

Доплыл он и до Салерно, где прожил несколько дней в «Albergo d'Oro». Как-то вечером ему до-

велось подглядеть «чисто национальную сцену», ставшую одним из украшений его итальянских мемуаров – «сцену публичного насыщения макаронами»: «Костры лавровых сучьев пылают на мостовой под глубокими котлами, у которых суетятся женщины, напоминающие макбетовских ведьм. Шумные толпы уличных гастрономов уже собрались. Голодные рыболовы, возвратившиеся с моря, утомленные носильщики, пересчитавшие в девятый раз все заработанные в продолжение дня карлины, и наконец, знаменитые ладзароны, умевшие добыть себе несколько гранов, отворяя и затворяя дверцы экипажей, или помогая причалить к берегу лодку, или, наконец, выканючить у иностранца подачку за носку зонтика или за указание улицы, – все собираются вокруг заветного котла и заглядывают в него с невыразимым вожделением. Один запах макарон заставляет многих хохотать и прыгать от радости. Зажиточные гости приносят с собой приличные миски и плошки; но ладзароны приходят с пустыми руками. Ладзарон никогда и ни в чем не затрудняется. Улыбаясь снимает он свой коричневый шерстяной колпак с нечесаной отроду головы, тряхнет им два об руку, или просто в шутку выколочит его об голову соседа, и, подавая один гран, велит наложить в колпак вкуснейших макарон с подливкой. Почувствовав себя владельцем этого сокровища, он воодушевляется; потом, закинув назад голову донельзя, загребает левой пятернею горсть макарон, поднимает их высоко над опрокинутым лицом и, потряхивая рукою, спускает эти белые, влажные

нити в свой широко разинутый рот. Если макароны очень вкусны, то бедняк, глотая их, перепрыгивает с ноги на ногу. Трапеза кончена; ладзарон утирается рукавом своей рубахи, или тем, что от нее остается на его плечах, стирает излишек жиру с колпака о свои ноги, и снова плотно надевает его на курчавую голову. Потом, он отходит в сторону и ложится на гладкие плиты лавы, нагретые на всю ночь солнцем, и, обратив лицо к звездам, сладко засыпает, в твердом убеждении, что прохожие с должным вниманием перешагнут через спящего».

Записки об итальянском путешествии 1847 г. сделали В.Д. Яковлева известным в литературных кругах: его путевые очерки публиковались в «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках», «Русском слове», «Светоче», «Сыне отечества». Н.А. Некрасов уговорил автора напечатать ряд очерков в «Современнике». В 1855 г. книга В.Д. Яковлева «Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя» вышла отдельным изданием – как раз в год вступления на престол Александра II, благородству и щедрости которого была в большой степени обязана.

В 1860 г. Владимир Дмитриевич Яковлев всеерьез заболел, вскоре ослеп и слег в постель, с которой не вставал двадцать четыре года, до самой своей смерти в 1884 г., живя на пенсию от Общества пособия бедным писателям. Что-то есть в судьбе этого литератора и путешественника, что подтверждает смысл известной итальянской поговорки: «Увидеть Неаполь – и умереть...».



## ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

Аксаков Иван Сергеевич (26.09.1823, с. Надеждино Оренбургской губ. – 27.01.1886, Москва) – публицист, поэт, общественный деятель. Окончил Санкт-Петербургское Училище правоведения. Служил чиновником в Правительствующем сенате и Министерстве внутренних дел; по служебным делам объездил многие города России. В 1855 г. участвовал в ополчении в Крымской войне.

В 33-летнем возрасте впервые отправился за границу в большое европейское путешествие, чтобы, наконец, «завершить свое бродяжничество и приняться за серьезное дело». В середине марта 1857 г. выехал из Петербурга в Германию, потом некоторое время жил в Париже, откуда ездил в Лондон к А.И. Герцену. Затем, через Орлеан, Лион и Марсель отправился в Италию. В те дни он писал родным: «Я не боюсь зноя, напротив, люблю его; ехать прямо в Италию из России мне просто не хотелось; меня в большей степени, чем Италия, интересовала жизнь и быт действующих народов. А теперь я с большим наслаждением туда отправлюсь».

Проехал на дилижансе через Ниццу и Турин в Геную, оттуда морем – в Ливорно. Посетил Флоренцию, а с середины мая 1857 г. поселился в Риме в отеле «Allemagne» на Via Condotti. Католический, «папский» Рим не произвел на будущего лидера

русского славянофильства положительного впечатления – его увлекла римская античность: «В Рим надо ехать прежде всего для Колизея, для Пантеона, для его развалин. Красноречивее языка я не знаю! Древний мир отдален от вас, вы не вносите в него современных вопросов, вы не оскорблены, как в храме Петра или в картинных галереях, безобразием идолопоклонства в области христианской под видом человечества, угнетенного пленом духовным... После Колизея и Ватиканского музея антиков вам кажется жалким и Св. Петр, и Моисей Микель-Анжело, и все вены и аворы...».

Зная из переписки с родными, что его письма из Италии активно читаются и обсуждаются в славянофильских кругах в Москве, Аксаков делился не только путевыми наблюдениями, но и делал серьезные культурологические обобщения: «Как надоела мне “Madonna con Bambino”! В иную залу войдешь: сотня мадонн! Понятно, что за нее преимущественно ухватилось искусство; оно в ней гармонировало с католическим верованием. Католика, при его взгляде на Мадонну, при его верованиях, не оскорбляет то, что оскорбляет православного – при большей духовности его веры, или протестанта, способного понять это противоречие силою отвлеченного разума».

Символ папского Рима – Собор Св. Петра представляется Аксакову храмом языческим, и он с иронией пишет о посещении его православными русскими: «Христианского в этом храме нет ни тени. Я не понимаю, как Гоголь мог здесь мо-

литься; тут разве только Николай Павлович (недавно скончавшийся император Николай I. – А.К.) мог молиться. Вверху купола или, вернее, в стенах шишки, на которой стоит крест, там, где стоять даже нельзя прямо, читал я чувствительную надпись: «Был здесь Николай и молился о благоденствии матушки-России!». Св. Петр храм языческий, созданный даже по образцам языческим, но в память папства, во славу папства».

В начале июня 1857 г. Аксаков отправился из Рима дилижансом в Неаполь (чуть более суток езды), где поселился в отеле на набережной Санта-Лючия с видом на залив и Везувий: «Неаполь так хорош, так оригинален, что заставил меня забыть на все время Рим. Описывать его почти невозможно, надо видеть. Как описать вам этот цвет залива, эту прозрачность воздуха, такую, что на дальнем расстоянии вы различаете самые мелкие предметы, эти берега с руинами, гротами, скалами, утесами, с садами, с виллами, мс городами, стоящими амфитеатром, отражающимися в воде! Все это обхватываете вы разом, видите Неаполь, вдали Портичи, Кастелламаре, Вико, Сорренто, видите ясно, не напрягая зрения, а сзади этих городов идут лилово-коричневые линии гор, среди которых – Везувий! Везувий, вечно дымящийся, а теперь по ночам, по случаю извержения, с огненным языком. Один Везувий – такое чудо природы, что на него нельзя смотреть равнодушно».

В Неаполе Аксаков встретил знакомых – семейство харьковских помещиков Квитков: Валериана

Андреевича, гвардии штабс-капитана в отставке, его жену, Елизавету Карловну (урожденную Гирш) и двух малолетних сыновей – Валериана и Андрея. Квитки – семейство весьма примечательное: богатые малороссийские помещики, они были убежденными италофилами. Родители Валериана Андреевича – Андрей Федорович Квитка (многие годы бывший харьковским губернским предводителем дворянства) и Елизавета Николаевна (урожденная Бердяева, приходящаяся двоюродной бабкой знаменитому русскому философу Н.А. Бердяеву) по нескольку месяцев в году жили в Италии, главным образом на двух своих виллах в Риме. Андрей Квитка был знатоком и страстным коллекционером итальянской живописи: в его домашней галерее были картины Тициана, Веронезе, Корреджио.

Любовь к Италии унаследовали и новые поколения Квитков. Вот как описывает И.С. Аксаков жилище, нанятое Валерианом Квиткой летом 1857 г. под Неаполем: «К счастью своему, я нашел в Неаполе знакомых... Они проводят здесь лето и нанимают здесь виллу на море, подле знаменитого грота Позилиппо, созданного еще римлянами. Я обедал и проводил у них вечера довольно часто. Вы думаете, что это великолепный дом? Ничуть не бывало, но этой прелести никаким золотом не купишь. Это скала над морем с гротами, выдолбленными морем, скала, обделанная в довольно удобное и вполне изящное жилище: внутри скалы пустое пространство усажено апельсинами, обвешано виноградом – это двор; естественный свод,

несколько обсеченный, служит дверью; углубления в скале, заделанные четвертою стеною, превратились в комнаты с окнами и балконами. Обедаете вы в гроте или на этом дворе под виноградом и апельсинами, – перед вами море неописано нежного голубого цвета, море, по которому проносятся от времени до времени лодки с латинскими парусами (треугольниками); против вас, на той стороне залива – Везувий...».

Аксаков много путешествовал по побережью Неаполитанского залива. В письме родным он описал свои чувства при виде Помпей и Геркуланума: «Для этого одного можно перейти моря и горы. Невозможно передать вам того ощущения, которое испытываешь, бродя по этим городам... Колоссальные развалины Рима говорят вам о торжественных явлениях жизни древних, а здесь вы видите ежедневный, домашний быт... Сколько притягательной прелести в этом осмотре, в этом пытании древней жизни, в этом разговоре с нею, в этих немых каменных ее ответах». Совершил Аксаков и традиционное для путешественников иностранцев восхождение на Везувий: «Был я на Везувии, восходил на самый Везувий, видел кратер, извержение, текущую лаву. Для одного Везувия можно приехать нарочно из России. Теперь извержение, и поэтому входят очень многие, даже дамы: последних большей частью вносят на носилках».

Зная интерес родных к такого рода сюжетам, Аксаков максимально подробно описал это свое приключение: «Все восхождение продолжает-

ся 2,5 часа. Сначала верхом до подошвы самого конуса, а на конус надо было взбираться пешком. Ноги уходят в лаву, превратившуюся в песок, конус почти перпендикулярен, и мучительнее восхождения я вообразить не умею, даром что меня подтаскивали на веревке двое провожатых». Открывшееся на вершине зрелище стоило затраченных усилий: «Но когда я влез на гору – мигом забыл всякую усталость. Великолепнее, ужаснее, торжественнее зрелища создать нельзя. Со страшным шумом и ревом, возвещающим невидимую таинственную работу стихий в преисподней земли, вырываются из двух жерл (старого и нового, открывшегося в 1855 г.), дымясь и беснуясь – два огненные языка; в подлинном смысле слова кратеры будто изрыгают, вместе с огнем, камни, серу и куски раскаленной, как уголь, лавы. Мы подходили (т.е. я, один итальянец из Венеции и человек пять провожатых) очень близко, только, разумеется, на самое горло взлезть уже нельзя по случаю извержения, однако же оно от вас вышиною не более двух сажень. Вы стоите на коре лавы, т.е. на лаве, отвердевшей и застывшей волнами, толщиной в пол-аршина, – но под этим слоем везде лежит лава раскаленная, как уголь, что вы видите сквозь трещины; изо всех щелей этого черепа горы поднимается дым; словом, на пол-аршина над вами – море огня, лава хрустит... Мы закурили сигары на огне Везувия, т.е. на выброшенном им при нас куске лавы».

Свои ощущения на вершине Везувия Аксаков изложил следующим образом: «Приходишь в какое-

то особенное восторженное состояние духа, становится весело, уйти не хочется; что-то упоительное в этом реве, в этой возне стихий, в этом чуде, в этой тайне природы. При нас заходило солнце, и красный шар его закатывался медленно между двумя мечущимися во все стороны огненными языками. Внизу течет или, вернее сказать, медленно движется огненный ручей лавы, пробившийся из-под верхней горы...». Уже поздно вечером Аксаков возвратился в Помпеи, откуда начинал восхождение, а оттуда отправился в экипаже в Неаполь – «садами и берегом моря, при лунном свете».

В переписке с русофильски настроенными отцом и старшим братом Иван Аксаков старался уравнивать свои восторги от итальянского юга несколько нарочитой «социологией»: «Слишком очаровательна здесь природа, утомляет тем, что содержит человека в постоянном восхищении. Так хороша, что я забыл здесь про гнусность Неаполитанского короля, и самый католицизм представился мне здесь только с одной своей поэтической стороны».

В один из дней Аксаков предпринял поездку на лодке из Сорренто в Амальфи. Там гиды-моряки провели его по горной тропинке в соседнее Атрани, где показали дом Мазаниелло – предводителя восстания неаполитанцев против испанской администрации в XVII в. Именно эта достопримечательность, судя по письмам Аксакова родным, особенно запомнилась ему на амальфитанском побережье. Во всяком случае, автор никак не ком-

ментирует посещение им амальфитанского собора св. Апостола Андрея Первозванного (а оно, без сомнения, имело место), что является несколько странным для представителя одного из сугубо воцерковленных христианских семейств России.

Между тем, многое в Италии напоминало Ивану Аксакову далекую родину: «тарантелла – немногим отличается от малороссийского трепака»; «женский костюм – почти нельзя отличить от нашего сарафана, даже головы повязывают по-нашему» и т.п. Особенно интересовала будущего лидера русского славянофильства дальнейшая судьба Италии, в которой он чувствовал много сходства с Россией: «Странный народ итальянский; не могу до сих пор разобрать его порядком: он вовсе не смотрит стариком, как прочие народы; напротив, его беспечность, веселость, живость (посмотрите на народ простой в церковных процессиях, на которые бедные разоряются, в театрах, в забавах – он весь душой тут участвует, будто важное дело) кажутся вам иногда залогом внутренней свободы, независимой от политического гнета. Но иногда кажется вам этот народ будто неразвившимся, еще на степени детства или некоторой полудикости; приходит в голову, что ему вечно суждено таким остаться, по крайней мере до тех пор, пока он будет находиться в духовном плену католицизма».

В середине июня 1857 г. И.С. Аксаков отплыл пароходом из Неаполя в Геную (через Ливорно), провел несколько дней в Венеции, а затем, через Швейцарию и Германию, отправился в Россию.

## БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН

Чичерин Борис Николаевич (26.05.1828, Тамбов – 3.02.1904, с. Караул Тамбовской губернии) – правовед, философ, историк, мемуарист. Академик (1893). Выходец из богатого тамбовского рода, ведущего происхождение от итальянца Чичерини, приехавшего в 1472 г. в Москву в свите Софии Палеолог, дочери византийского императора, выходящей замуж за русского царя Ивана III.

Окончил юридический факультет Московского университета. Под влиянием Т.Н. Грановского сформировался как русский «западник», крайне критично относящийся к идеям «самобытности»: «Я пламенно любил отечество и был искренним сыном православной церкви... Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского общества, подчинившийся влиянию петровских преобразований, презирает все русское и слепо поклоняется всему иностранному, что может быть и встречалось в некоторых петербургских гостиных, но чего я, живя внутри России, от роду не видал... Вне московских салонов русская жизнь и европейское образование преспокойно уживались рядом, и между ними не оказывалось никакого противоречия; напротив, успехи одного были чистым выигрышем для другого».

В 1857 г., с ослаблением в России цензуры после смерти императора Николая I, защитил, на-

конец, магистерскую диссертацию, посвященную областным учреждениям России XVII в. Тогда же, с благословения и на деньги отца, решил предпринять большое заграничное путешествие для изучения политики и культуры европейских стран.

В Предисловии к своим воспоминаниям о заграничной поездке 1858-1861 гг. Борис Чичерин написал: «В настоящее время путешествие за границу дело самое обыкновенное. При легкости и удобстве сообщений, едва ли найдется образованный человек, который бы не объехал почти всю Европу. Не то было в прежние времена, когда железные дороги еще не существовали, а русское правительство, особенно с 1848 года, делало всякие затруднения подданному, дерзающему преступить священные пределы отечества... Но с новым царствованием и с заключением мира (после Крымской войны. – А.К.) все препятствия разом исчезли. Двери отворились настежь, и вся Россия ринулась за границу. Я последовал общему течению. Это был целый новый мир, который открывался передо мною, мир, полный прелести и поэзии, представлявший осуществление всех моих идеалов. Чудеса природы и искусства, образованный быт стран, далеко опередивших нас на пути просвещения, наука и свобода, люди и вещи – все это я жаждал видеть своими глазами. Я хотел насытиться новыми, свежими впечатлениями, представляющими человеческую жизнь в ее высшем цвете».

В мае 1858 г., через Варшаву и Вену, Чичерин отправился в Италию, где в Турине (столице Сардинского королевства) в русском посольстве работал его брат Василий. Уже небольшое путешествие на корабле от Триеста в Венецию привело Чичерина в полный восторг: «Проведя всю свою жизнь в убогой русской степи, я никогда не видел ни моря, ни скал. Здесь то и другое явилось мне в неведомом дотоле величии... Ночью я слез в Триесте на пароход, но уже ранним утром я был на палубе и тут меня впервые поразило вид гладкого, как зеркало, моря при восхождении солнца... Наконец, перед нами предстала, как бы выходящая из моря, облитая весенним солнцем Венеция». Именно сочетание морской глади и скалистого берега останется на всю жизнь наибольшим природным впечатлением для Чичерина: оно окончательно сформируется на берегах Неаполитанского залива и достигнет своего апогея в Амальфи.

После Турина были Ницца, озера Северной Италии, Швейцария, путешествие по Рейну, Лондон (где Чичерин посетил А.И. Герцена), Париж, снова Ницца и, наконец, поездка в долгожданный Рим: «Я увидел здесь воочию всю историю человечества, и древность, и средние века, и новый мир, как бы слитые воедино и представленные в живых образах и в чудной гармонии. Прежде всего, я, разумеется, побегал на Форум. Я ступал по почве, где волновались свободные граждане Рима, с их консулами и трибунами, где ратовали Сципионы и Гракхи, Цицерон и Цезарь... Я стоял на Капитолии,

в центре римского могущества и славы. Тут заседал римский сенат, величайшее политическое собрание в истории, который в течение многих веков наполнялся славнейшими именами, руководитель политики, покорившей целый мир».

Влюбленный с детства в римскую античность, Чичерин гораздо сдержаннее оценивал Рим папско-католический с его пышными церемониями: «Я много видел этих церковных торжеств и любовался их великолепием, хотя должен сказать, что все в них казалось больше рассчитанным для глаз, нежели для души... Когда я в день Рождества Христова вошел в базилику Св. Петра, меня неприятно поразили ряды солдат, устраняющих чернь и впускающих в запретное место вокруг алтаря только одетых во фрак иностранцев, собравшихся тут для зрелища. Глядя на все эти художественно организованные процессии и службы, я всякий раз с любовью вспоминал иное, гораздо более скромное религиозное торжество, которое далеко не отличается такую пышностью и блеском, но гораздо сильнее действует на душу. Я вспоминал, как на светлый праздник в тишине собирается народ на Кремлевской площади, как при первом ударе колокола Ивана Великого все молча снимают шапки и осеняют себя крестным знамением, и вслед за тем по всей Москве пойдет неумолкающий гул бесчисленных колоколов. И после торжественного благовеста, призывающего всех православных к молитве, начинается ликующий, оглушительный трезвон, возвещающий великий праздник Вос-

кресения. В благоговейном ожидании толпится на площади народ с зажженными свечами, и вот один за другим идут вокруг соборов крестные ходы, с хоругвями, иконами, с облеченным в праздничные ризы духовенством и с радостным пением: Христос Воскресе!».

Ранней весной 1859 г. Чичерин отправился в Неаполь – «посмотреть на самую красивую природу, какая, может быть, существует на земном шаре»: «Здесь в дивной гармонии соединяется все, что может пленить чувства человека: край, издавна манивший своею красотою, полный исторической и современной жизни, как бы лелеющийся на солнце под безоблачным нежным небом, при ярко голубом море; кругом ласкающий воздух, напоенный ароматами, плавные линии гор, померанцевые рощи и стройные пинии и над всем этим величественный и вместе удивительно красивый Везувий с дымящейся вершиною, который, как одинокий великан, вздымается над равниною, словно любясь расстилающеюся у ног его прелестью».

Осмотрев богатейшие музеи Неаполя, Чичерин посетил Помпеи, ездил в Сорренто: «Сидя на висящей над морем скале, я вдыхал в себя этот упоительный воздух и любовался закатом солнца, тихо погружающегося в море и озаряющего своими золотыми лучами эту очаровательную картину... Я долго сидел и не мог наглядеться на восхитительное зрелище, которое открывалось моим взорам: у подножия лежал гладкий, как зеркало, отражающий голубое небо Неаполитанский залив; налево

рисовались на горизонте дымчатые очертания замыкающих его островов, величественного Капри и изящного Иския; впереди расстилающийся полукругом Неаполь и весь усеянный виллами берег; справа поднимающийся плавными линиями высокий Везувий, увенчанный легким дымком, кругом яркая зелень апельсиновых рощиц с перемешанными между ними розовыми цветами персиков и блистающими на солнце каплями недавней росы, все это облитое тихим сиянием апрельского утра с носящимся в теплом и влажном воздухе весенним благоуханием. Это одно из тех впечатлений, которые не забываются вовек».

Из Сорренто Чичерин ездил на Капри, где побывал в Лазоревом гроте, а потом «въехал верхом на осле на высокую, отвесно вздымающуюся над морем скалу Тиберия, некогда любимый приют сумрачного деспота, отсюда правившего миром»: «Опять мне представился тот же вид, в меньшей прелести, но в еще большем величии: с одной стороны, далеко внизу, весь окаймленный горами и поселениями Неаполитанский залив, а с другой стороны безграничная, бездонная лазурь и наверху и внизу, лазурь сияющая таким удивительным блеском и манящая к себе такую чудною глубиною, что очарованный взор так в ней и тонет и не в силах от нее оторваться». Там, на Капри, Чичерину показалось, что «выше этого вида ничего уже нет», однако вышло иначе: «Еще больше впечатления произвели на меня Амальфи и вся дорога до Салерно по берегу моря».

Чичерину-путешественнику уже было с чем сравнивать: «Я видел северную ривьеру от Ниццы до Специи и думал, что в мире не может быть ничего красивее этого сочетания величественных скал и лазурного моря, с дорогою, извиною по берегу, украшенному противоположно зеленью померанцев и олив, с всюду ползущими растениями по оградкам, и с живописно развернутыми местечками и городками, где самые простые постройки просятся на картину. То же самое я увидел и на южной ривьере, между Амальфи и Салерно, но в еще большем величии и красоте: здесь скалы еще живописнее, море сияет еще более яркою лазурью».

Парадоксально, но внешне холодный и очень рассудочный в жизни Борис Чичерин оказался едва ли не главным «певцом Амальфи» в русской культуре: «Амальфи в особенности представляет такое очарование, с которым ничто не может сравниться. Внизу долина мельниц, с ревущим по ней потоком среди грозных теснин, у подножия которых тянутся покрытые фруктами апельсиновые рощи, пещеры, убранные лезущими отовсюду вьющимися растениями, живописные арки, перекинутые через клубящиеся воды, мельницы с крутящимися колесами, представляет как бы клочок Швейцарии или Тироля, перенесенный в роскошную природу юга и освещенный полуденным солнцем; наверху великолепное Равелло с сарацинскими развалинами, вознесенное высоко над морем, откуда вид простирается в бесконечную лазурную

даль: все это вместе является какою-то волшебною сказкою или поэтическим видением из другого мира».

Через Салерно Чичерин доехал до Пестума, где видел «удивительно сохранившиеся древние дорические храмы, возвышающиеся среди пустынной равнины по всей их гармонической простоте и изяществе». Вернувшись в Неаполь, он, в довершение, совершил восхождение на Везувий – «и притом в особенных обстоятельствах».

Извержение Везувия застало Чичерина на одном из русских фрегатов, стоящих в те дни на рейде Неаполя. На этом корабле путешествовал тогда старинный знакомый Чичерина – русский литератор Д.В. Григорович. Чичерин потом вспоминал: «Однажды мы обедали в ресторане с ним и с двумя капитанами. Они предложили съездить ночью на Везувий посмотреть извержение. Большое шоссе было перерезано лавою; мы наняли ослов и взяли проводников, которые должны были вести нас окольными путями». Дорога в ночной темноте оказалась полной приключений: «Мы решились пешком, через груды лавы, идти на то место, откуда видно было извержение. Шли, шли, медленно подвигаясь с помощью факелов во тьме кромешной, по невообразимым кочкам, на которых можно было переломать себе ноги. Вдруг проводники объявили, что у них факелы погасли, и что надобно возвращаться назад. Тут уже я взбунтовался и решительно сказал, что останусь сидеть на лаве, пока они не вернуться с новыми факелами. Так мы



и сделали. Насилу, наконец, мы добрались до желанного места, но тут перед нами открылось действительно невиданное зрелище. Мы стояли над извержением и видели под собою долину, представляющую настоящий ад. Огненные потоки беспрерывно, то здесь, то там пробивались сквозь землю и текли медленными ручьями, пока постепенно не застывали. Воздух наполнен был смрадом, а лава кругом была такая горячая, что один из проводников завернул в кусок мягкой лавы медную монету, которую я сохранил. Налюбовавшись этим необыкновенным зрелищем, мы съехали обратно и к утру уже остановились отдохнуть в Геркулануме».

Из Неаполя Чичерин уехал во Флоренцию, а оттуда – через Болонью, Модену, Парму и Пьяченцу – снова к брату в Турин. На протяжении своей жизни он еще не раз будет приезжать в Италию, но на так поразившие его южные берега более не вернется.

## **ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ МУРАТОВ**

Муратов Павел Павлович (19.02.1881, г. Бобров Воронежской губ. – 5.02.1950, Уотерфорд, Ирландия) – писатель, искусствовед, переводчик. Окончил кадетский корпус, затем Институт инженеров путей сообщения в Петербурге. Во время русско-японской войны писал военные репортажи.

Первые искусствоведческие работы Муратова явились результатом его поездок в Европу, где он серьезно занимался изучением французского постимпрессионизма. Писатель Борис Константинович Зайцев (ему потом будут посвящены муратовские «Образы Италии») вспоминал: «Помню весну 1906 года, московский журнальчик “Зори” – Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Италией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же вскоре и он попал в Италию и так же, как мы, навсегда попался. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу – в высокой и благородной форме».

В 1908 г. Муратов впервые отправился в Италию вместе с женой Екатериной Владимировной, урожденной Пагануцци (1884–1981), талантливой танцовщицей, в которую были влюблены многие деятели русского «Серебряного века» – Владимир

Ходасевич, Самуил Киссин (Муни) и др. Путешественники побывали в Венеции, Флоренции, Сиене, Равенне, долго жили в Риме, а затем отправились на Сицилию, переживавшую последствия недавнего разрушительного Мессинского землетрясения.

Во время пребывания Муратовых в Палермо на Сицилии, а затем в Реджио-ди-Калабрия, подземные толчки не прекращались. Екатерина Муратова впоследствии вспоминала свои ощущения от обратного пути с Сицилии в Неаполь в феврале 1909 г.: «В Реджио была весна. Каменистая степь поросла маленькими душистыми, лиловыми гиацинтами и красными и желтыми тюльпанчиками... Мы уже в поезде, чтобы ехать в Неаполь. Я стояла у окна, был уже вечер. Вдруг все покачнулось, исчезло чувство прочности земли. Фонари на станции, уже зажженные, куда-то ушли, подул ветерок и наступила странная тишина. Вдруг завыла собака, закричали люди. Было страшно, что море, которое было рядом со станцией, может слизнуть поезд. Машинист с лицом сицилийца – грубо высеченными чертами, огромными темными глазами, вскочил на паровоз, дал свисток и мы помчались. Когда приехали в Неаполь, было чувство извращения и радости. На улицах веселье – карнавал: фантастические звери. Ряженые, арлекины, пьеро, коломбины. Мы немедленно пошли в приморскую трактирию, выпили фраскати из фиаско и поужинали всякой морской нечистью – “frutti di mare”».

В своих путешествиях по Италии Муратов объездил все побережье Неаполитанского и Салернского заливов. Муратовские очерки – результат глубокого знания итальянской культуры и повседневной жизни. Он был убежден, например, что «для путешественника, умеющего смешиваться с народной толпой, сама жизнь в Неаполе представляет нескончаемый интерес. Можно сказать даже, что, кто не был в Неаполе, тот не видел зрелища народной жизни». С другой стороны, положение, когда итальянцы могли принять его не за заинтересованного наблюдателя, а за очередного праздного иностранца («форестьера») всегда тяготило Муратова-исследователя: «Надо запастись большим терпением для поездок в окрестности Неаполя. Путешественник, попавший среди дня и не в самый разгар неаполитанского сезона в какой-нибудь из ближайших городков, мгновенно становится единственной надеждой на пропитание для всех его жителей. К нему устремляются гиды, извозчики, чистильщики сапог, нищие, лодочники и продавцы всякой дряни. Сердиться на это – и бесполезно, и несправедливо. Но удовольствие от поездки все-таки пропадает, ибо как благородны ни были бы цели ее, как ни была бы рыцарственна любовь путешественника к югу Италии, он все равно окажется среди этой крикливой, притворно-услужливой и внутренне-насмешливой толпы в смешном и стеснительном положении “форестьера”. Быть “форестьером” в самом деле немного стыдно здесь, так как именно иностранцы и повин-

ны больше всего в порченности этого хорошего в сущности народа. Уже не одно столетие стекаются со всех концов Европы люди, не привозящие с собой ничего, кроме денег, желая развлекаться и воскресной любви к красотам природы. Это они создали тот уклад жизни, который отнимает много прелести даже от посещения Помпеев и отбивает всякую охоту ехать в Сорренто и Капри».

В конце февраля 1909 г. Павел и Екатерина Муратовы отправились в очередное путешествие – на берега Салернского залива, и объездили все амальфитанское побережье. Муратовские очерки о Салерно, Амальфи, Равелло, Пестуме вошли затем во второй том его «Образов Италии».

С любовью относившийся к Неаполю и неаполитанцам, Муратов, тем не менее, настоятельно рекомендовал русским путешественникам обязательно добраться до амальфитанского берега: «В немногих часах пути от Неаполя путешественник найдет там залив еще более обширный, чем неаполитанский, с еще более строгими и классически-прекрасными очертаниями берегов. Природа амальфитанского побережья, пожалуй, даже еще более выражает типические черты юга. Нравы, которые приезжий встретит в здешних городах, меньше затронуты влиянием большого города и в меньшей зависимости находятся от промысла иностранцами».

Но что важнее всего, отмечал Муратов, «эти места освящены историей и сохраняют художественные памятники, полные высокого интере-

са, неожиданности и величия»: «На южном конце Салернского залива, на месте древнего Пестума, стоят греческие храмы, более великолепные, чем греческие храмы, оставшиеся в Сицилии. В самом Салерно и в Амальфи есть древние церкви, живописно и причудливо соединяющие черты романской, византийской и арабской архитектуры. Высоко в горах над Амальфи лежит Равелло – руина полувосточного города, сохранившая среди тенистых и влажных садов один из тех арабских дворцов, которыми было некогда украшено Палермо и от которых там не осталось теперь почти ничего. После легких и текучих впечатлений пестрой неаполитанской жизни эти солнечные берега направляют путешественника снова к важным образам прошлого. Они обещают ему ряд дней, наполненных не только ясным чувством этой природы, но и возвышающим душу созерцанием вещей, созданных гениями народов».

Первой остановкой путешественников был Салерно: «Это очень тихий, белый южный город, мало чем напоминающий Неаполь... Город расположен на крутом склоне горы, и утомительно подниматься по его улицам, переходящим повсюду в лестницы. Белые дома стоят на них с вечно опущенными зелеными жалюзи. Лишь изредка стучат здесь по каменным ступеням копыта маленького ослика, деревянные башмаки крестьянина, сандалики монаха, сабля гарнизонного офицера... Наверху открывается огромный вид, в котором пространства моря и воздуха выступают с еще большей просто-

той, ясностью и торжественностью, чем в неаполитанских видах. На закате весной здесь удивительно зеленеет небо, далекие горы Калабрии горят багрянцем, и оливковая роща внизу становится нежна и легка, как дым, рядом с темнеющим морем. Вечером городская жизнь приливает к освещенным кафе на набережной. В них видны жестикулирующие фигуры местных деловых людей и офицеры, отяжелевшие от провинциальной скуки. Девушки в цветных платках по две, по три быстро проходят мимо, приостанавливаясь на минуту, чтобы купить у торговки сладкие, как сахар, мальтийские апельсины. Ночь опускается понемногу, глубокая, тихая, с крупными звездами, слабым теплым ветром и плеском моря о камни маленькой набережной».

В Салерно Муратовых в первую очередь привлек Собор Св. Матфея: «В Салернском соборе приезжие осматривают гробницу папы Гильдебранта, мозаичное изображение апостола Матфея, амвоны работы Космати, резной, слоновой кости византийский алтарь, хранящийся в ризнице. Все это говорит о давних временах процветания – построенный в те времена собор до сих пор остался самым большим зданием в городе. Его тенистый просторный неф привлекает много гуляющих, уставших от блеска моря и ярко освещенных стен на обращенной к югу узенькой набережной».

Переночевав в Салерно, Муратовы выехали по железной дороге в Виетри и уже оттуда отправились пешком в Амальфи: «От Виетри до Амальфи

только пятнадцать верст; эта дорога славится своей красотой, и всем любителям видов можно посоветовать пройти по ней. В общем, она напоминает, конечно, другие дороги над морем – в Крыму, на Кавказе, на Ривьере. Но глубокие тенистые овраги, на дне которых бегут ручьи, и лимонные сады, расположенные террасами по склонам гор, составляют ее особенность».

Обратили внимание Муратовы и на особенный тип амальфитанских женщин: «В Майори и Минори женщины отличаются редкой красотой и стройностью. У них удлинённый овал лица, огромные черные глаза и тонкая оливковая смуглота кожи. Они больше похожи на современных гречанок, чем на итальянок, и сходство их с восточными женщинами еще увеличивается от привычки носить тяжести на голове. На дороге между Минори и Амальфи встречается много этих живописных фигур, воплощающих наяву наши видения далекого юга. Классическим движением руки они придерживают на голове кувшин с водой или вязанку хвороста и при виде иностранца протягивают к нему свободную руку и просят сольдо. Не следует удивляться этому или видеть что-нибудь дурное в их детской доверчивости и детской страсти к подаркам. У девушки из Минори нет никаких других способов добыть медную монету, которую она могла бы легко истратить на лакомство или на покупку цветной ленты. Она видит, что приезжие тратят много денег ради того, чтобы посмотреть на ее море и на ее горы. Она сознает себя участницей каждого здеш-

него пейзажа и не желает даром служить слабости к видам, которую питают все иностранцы».

Павла Муратова, сделавшего свои итальянские путешествия по сути профессией, всегда интересовала мотивация других «форестьеров», приехавших со всех концов света полюбоваться красотами амальфитанского берега: «Нигде не чувствуется так эта старинная слабость путешественников, как в Амальфи. Бродя около огромных и роскошных отелей, настроенных в этом крохотном и бедном рыбацьем городке, невольно начинаешь задумываться над особенностями психологии «форестьеров». Что привлекает сюда этих людей, равнодушных, в сущности, ко всему на свете, кроме собственной выгоды, тщеславия и удобств спокойной жизни? Что заставляет их бросить насиженные гнезда в богатых предместьях Лондона, Парижа, Берлина и мчаться в быстрых поездах или на автомобилях к этой скромной деревушке на берегу южного залива? Если спросить кого-нибудь из них о цели его путешествия, то он, не задумываясь, ответит: красивые виды. Есть особая эстетика природы, понятная только туристам. Пейзажные фоны старых флорентийских и умбрийских мастеров, картины Клода Лоррена, офорты Каналетто несколько не помогут узнать ее законы. Об этом больше скажет витрина с раскрашенными открытками и сувенирами. Красивыми считаются яркие краски и резко очерченные, определенные формы. Туристы ищут природы, которая говорила бы языком выразительным и действующим даже на детское вообра-

жение. Как в искусстве, так и в природе они любят наглядность, определенность выражения и драматизм действия. Все вкусы их удовлетворены, когда половина пейзажа занята морем, а остальная часть его замкнута горами, когда на первом плане причудливо расположены дикие скалы, составляющие контраст с приятным пятном зелени, и когда все это еще дополнено живописной чертой, вносящей жизнь, – хижинкой на берегу, лодкой, вытасченной на песок, или далеким парусом».

Если учесть эту «туристскую психологию», полагал Муратов, то особенная тяга иностранных путешественников к побережью Амальфи вполне объяснима: «Мы привыкли относиться с презрением к этому вкусу, но, распространяя наше чувство на самую эту природу, на этот южный пейзаж, мы легко можем совершить глубокую ошибку и нанести незаслуженное оскорбление вещам, которые были некогда обожествлены воображением более счастливого и более одаренного, чем мы, народа. Эта выразительность красок и форм, это яркое драматическое взаимодействие стихий, понятное всякому, кто попадает в его круг, являлись некогда источниками прекраснейшего из творчеств. Прежде всякой иной эта природа стала одухотворенной, приняла пластический образ, прониклась движением священной драмы, сделалась родиной мифа».

В своем очерке об Амальфи Муратов приводит яркие слова английского поэта и историка культуры Джона Саймондса, сказанные как раз об Амаль-

фи: «В таких как эти пейзажах мы легко можем понять предания о сельских богах, метаморфозы Сиринкса, Нарцисса, Эхо, Гиацинта, Адониса, рассказы о дремлющем Пане, о рогатых сатирах и фавнах, играющих на свирели, которыми слагатели идиллий украшали свои простые пастушьи песни. Здесь кажутся возможными орады, обитательницы рощ, дриады, сильваны и водяные нимфы. Они теряют здесь призрачность и мифическую туманность, ибо люди сами являются здесь в большей степени частью природы, чем на севере, и более пригодны для совместной жизни с божествами ручьев и гор». Муратов добавляет: «Вид этой природы действует даже на спящее воображение современного путешественника. Зов ее доходит до самого равнодушного сердца. Мудрено ли, что воображение древних греков видело здесь повсюду божественных жителей и что их чуткий слух повсюду различал неумолчные голоса!»

Из Амальфи Муратовы отправились в горное Равелло: «Мы выехали из Амальфи под дождем. Такие сильные и продолжительные дожди бывают на юге только в горах и на морских побережьях. По мере того как мы поднимались по бесконечным извилам дороги, ведущей в Равелло, нам становилась виднее ясная полоса на самом горизонте, за морем, уходящим к Сицилии. Но туча, нависшая над берегом, казалось, не двигалась и по-прежнему изливала на нас целые потоки воды».

Равелло явилось одним из самых ярких впечатлений Муратова в Южной Италии: «Равелло лежит

высоко в горах над Амальфи; высота кажется еще больше от крутого подъема. Девушки с вязанками хвороста на головах сбегают в несколько минут по лестнице, спускающейся в Минори; мы поднимались больше часа. Дорога проложена по склонам лесистой долины Атрани. Только лимонные сады и вечнозеленый плющ говорят здесь об Италии. В остальном окрестности Равелло мало похожи на страну, где прошли вековой чередой цивилизации. Самое существование этого стариннейшего города на такой высоте представляется непонятным, почти недостоверным. «Кто бы мог поверить, что среди недосыгаемых скал вырос город, обильный знатными родами и замечательный своими зданиями?» Это восклицание средневекового летописца может повторить и каждый из современных посетителей единственной в своем роде руины».

Описание Муратовым Равелло выдает в нем не только увлеченного искусствоведа, но и проницательного историка: «Своим возникновением Равелло обязано процветанию Амальфи и других морских республик на этих берегах в XI и XII веке. В то время как прибрежные города жили торговой и деловой жизнью, Равелло сделалось резиденцией наиболее богатых и знатных фамилий. Когда аристократия амальфитанского побережья накопляла достаточно золота торговлей и морскими разбоями, она устраивалась на отдых в этом безопасном и гордо уединенном месте. На здешней высоте до ее слуха не доходили ни шум торговых факторий, ни разноязычная речь моряков, ни

голос народных мятежей. Со стен Равелло можно было спокойнее видеть приближающиеся корабли африканских корсаров; на недоступные скалы можно было положиться вернее, чем на храбрость наемников. Равелло стало поэтому городом дворцов, богатых церквей, украшенных садов. Его создало желание спокойно наслаждаться благами жизни, добытыми ценой всевозможных опасностей. Этот город воплощал все праздничные стороны той цивилизации... Смешение разных элементов – византийского, арабского, лонгобардского и норманнского – с местной культурой этой первой по времени из всех «Италий» дает ей фантастический, прямо сказочный характер».

Равелло, увиденное Муратовыми, конечно, отличается от города времен его культурного расцвета: «Теперь Равелло, конечно, только руина. Кроме дворца Руфоли, здесь нет ни одного сколько-нибудь цельно сохранившегося здания. Зато по всему городку разбросано множество интереснейших архитектурных обломков. Колонна с романской капителью поддерживает сводик над лестницей в одном доме, стрельчатая арка заделана в стену другого, химеры стерегут вход в отель; в другом отеле на дворе есть остатки фонтана в арабском духе. Число таких фрагментов очень велико. Можно сказать без преувеличения, что здесь нет ни одного дома или двора, где не было бы каких-нибудь следов прежнего строительства».

Но неизменным остался уникальный вид с высот Равелло на окрестные земли и великолепный

Салернский залив: «По утрам в особенности и на закате солнца отсюда открываются удивительные панорамы неба, моря и гор Калабрии. Цвета меняются в них с расточительным разнообразием, но лучшее, что есть в таких картинах, – это чувство пространства... В Равелло мало мест, откуда картины моря и берегов были бы видны в такой великолепии, как с террасы в садах Руффоли...».

После поездки на Сицилию вилла Руффола произвела особенное впечатление на Муратову и его жену, тоже обладавшую утонченным художественным вкусом: «Ни в Италии, ни в Сицилии нет более любопытного памятника арабской или, вернее, навеянной арабами архитектуры... По общему впечатлению все это является совершенно исключительным в Италии. Разве только монастырский двор с удивительно переплетенными стрельчатыми арками при соборе в Амальфи может напомнить узорную светотень кортиле Руфоли. Строители, работавшие над этим зданием, понимали свою задачу приблизительно так же, как архитекторы, воздвигавшие «увеселительные замки» для вельмож XVIII века. В их легких и хрупких формах и в празднично нарядной их орнаментике чувствуется тот же дух, что в «китайских павильонах» и садовых беседках рококо. Это странно звучит для эпохи, которая представляется нам глубоко варварской. Но не следует забывать о примере, который был перед глазами Руфоли. При постоянных сношениях с Сицилией жизнь арабских эмиров в сказочных садах Палермо была хорошо известна в Амальфи

и Равелло. Лучших образцов праздничности, пышности, умения наслаждаться вечным и сладостным отдыхом нельзя было найти в тогдашней Европе. Устраивая свою резиденцию, Руфоли следовали за поистине великими знатоками счастья, доступного на земле. От этой восточной мечты о счастье остались здесь до сих пор красота узорных лоджий, покой бесчисленных зал и подземных ходов и пленительная тень сводчатых павильонов, созданных для того, чтобы часами слушать медленную речь падающих из источника капель».

Полно особого очарования и описание Муратовым раннего утра в Равелло: «После длинной дождливой ночи наступило вдруг нежно сияющее весеннее утро. Влажный теплый ветер врывается в открытое окно; весь воздух был наполнен тонкими жемчужными парами. Они быстро таяли под солнцем, и скоро нам открылись далеко внизу лазоревые бухты Минори и Майори. Только полоса вспененного прибоя напоминала о ночной непогоде. Чистые очертания гор пробуждали неудержимое желание идти по новым дорогам, пить воду из ледяных ключей, отдыхать над обрывами, по которым вьется горный молочай, и находить под оливками первые цветы первых февральских дней – лилово-дымчатые анемоны».

Побывали Муратовы и в Пестуме, добравшись туда из Салерно по железной дороге: «Имя исчезнувшего города носит маленькая станция глухой железной дороги, ведущей в Калабрию. Теперешние провинции Калабрия, Апулия и Базиликата об-

разуют вместе прежнюю Великую Грецию. Но все древнейшие и прославленные города Великой Греции давно стерты с лица земли... Пестум, называвшийся в греческие времена Посейдонией, был основан выходцами из Сибариса в VII веке до Р. Х. По счастливой случайности этой северной колонии не суждено было исчезнуть так бесследно, как исчезли большие южные города... Недавняя судьба Мессины и Реджио объясняет судьбу городов Великой Греции. Пестум стоит на более постоянной земле, и все землетрясения в Калабрии отражаются здесь лишь слабыми толчками и подземным гулом. Кроме того, Пестум расположен в стороне от дорог, которыми проходили завоеватели южной Италии. Уже во времена императоров он начал клониться к упадку, с возвышением Салерно был покинут окончательно и потом почти забыт до тех пор, пока его храмы не были вновь найдены путешественниками и археологами XVIII века».

Муратовский рассказ о посещении Пестума – прекрасный пример его уникального литературно-художественного стиля: «В солнечный день ранней весны мы сошли с поезда на маленькой станции и направились по дороге, ведущей к храмам. Воздух был необыкновенно прозрачен, и циклопические очертания Монте Альбуно выступали резко и отчетливо. Эту гору избрал Иванов фоном для своего “Явления Христа народу”. Несколько белых селений укрывались там в складках дикого горного кряжа, заброшенные, ненужные среди окружающей пустыни. Впереди плоская равнина тянулась



до самого моря, сверкавшего полуденным блеском. Две, три фермы, скудные пастбища, далекое стадо, далекий всадник, медленно приближающийся по бесконечной дороге, – пастушья земля, колыбель народа, вспоенного соком горьких трав и медом полевых цветов!»

Знаменитые храмы открылись путешественникам на повороте дороги – «два рядом, третий на некотором расстоянии»: «Несмотря на окружающее безлюдье и опустошение, они не внушают той печали, какую испытывает каждый перед срезанными серпом времени колоннами на форуме Траяна в Риме. Кругом храма был город, но в нашем представлении о греческом мире город не играет большой роли. Греческая жизнь в те отдаленные века не могла быть городской, как жизнь в Риме или в Византии. Основное чувство греческого бытия, чувство вселенной, есть в то же время чувство деревни, полей, пастбищ, морских берегов... Жители Пестума были мореплавателями и рыбаками, построившими храм Посейдона, или земледельцами, построившими храм Деметры, или, наконец, пастухами, гонявшими стада в соседние горы...»

Каким чудом простые люди той эпохи смогли оставить после себя памятники такого высокого духа? – задается вопросом Муратов. «Мы ничего не знаем о той жизненной обстановке, в которой созидались греческие храмы. Строители их почти никогда не известны, и летописи сооружений не дошли до нас. Все, что можно сказать, это что они созданы глубоким религиозным чувством, прони-

кавшим существование той отдаленной эпохи. Пестумские храмы рассказывают о времени, когда сквозь волнуемую пеструю ткань местных верований, мифов, легенд начали проступать более общие и строгие, более устойчивые черты дорического мировоззрения... Это время, VII и VI век до Р.Х., называют иногда греческим средневековьем. Вдохновенность и чистота его архитектуры напоминают европейское средневековье. В сущности, архитектура знает только две органические эпохи – эпоху дорических храмов и эпоху готических соборов. В обе эти эпохи искусство выражало религию. В том и другом случае оно было безымянным, народным. Быть может, допустимы и другие параллели. В XIII веке строительные артели, похожие на религиозные братства, передвигались по Франции, украшая одну коммуну за другой великими памятниками христианского благочестия. Подобно этому, может быть, странствовали из города в город, из колонии в колонию сообщества искусных в разных отраслях строительного дела мастеров, воспитанных наследственно в идеях дорического зодчества. Только так можно объяснить великолепный расцвет его в VI веке на разных берегах Средиземного моря».

Путешественник в Пестум часто вспоминает знаменитые «розы Пестума» у Вергилия. Муратов замечает на этот счет: «Теперь там нет, конечно, никаких роз. Заросли кустарников окружают храмы, сорные травы пробиваются между медово-золотистыми плитами и свешиваются с фронто-

нов. В тот день, когда мы там были, весенний ветер колебал эти кустарники и травы, и среди полной тишины был слышен только их слабый и грустный шелест. Было настолько тихо, что можно было различить даже скользящий шорох бесчисленных зеленых ящериц, неутомимо снующих по ступеням и колоннам. Среди зимних растений мы нашли там в изобилии священный для греческого искусства акант. Тень его разрезных листьев ложилась на камень классическим узором».

Муратовы провели в Пестуме целый день, победив среди развалин хлебом, сыром и сушеными фидами: «Картина заката была великолепна. Горы Салернского залива и горы Калабрии сияли всеми торжественными вечерними огнями – пурпурным, золотым, лиловым, синим и розовым. Бледный оранжевый пламень последних лучей струился по колоннам и таял в зеленоватом весеннем небе. Глубокий покой окружал храмы. Так же как эта минута, прошли над ними тысячелетия... В ожидании сильно запоздавшего поезда мы долго разговаривали на станции со старухой, которая прожила здесь безвыездно тридцать пять лет. Ее муж был начальником станции, и после его смерти ей позволили доживать здесь свой горький век. Все, что было хорошего в ее жизни, – молодость, семья, благосостояние, – все прошло в этой пустыне, посещаемой только дикими пастухами и любознательными иностранцами. С ее смертью угаснет последняя душа, для которой немые храмы Поссейдони означают былые радости, былое счастье...».

Жизненные пути Павла и Екатерины Муратовой потом разошлись. Он, заключивший выгодный договор на издание «Образов Италии» с издательством «Научное слово», отправлялся в новые путешествия один. Она часто выезжала (в том числе за рубеж) на гастроли танцевальной труппы Е. Бартельс-Рабенек. Увлечлась Владиславом Ходасевичем, потом дважды выходила замуж. В своих поздних мемуарах о «Пате Муратове» Екатерина Владимировна вспоминала: «В 1911–1912 годах мы расстались... У меня по молодости лет и из-за увлечений маскарадами получился полный сумбур в жизни, чувствах и мыслях... Но дружбой, даже какой-то нежной любовью, были связаны до его отъезда за границу, хотя наша жизнь и пошла врозь».

По словам друга Муратова, писателя Бориса Зайцева, успех «Образов Италии» в России был «большой и непререкаемый»: «В русской литературе нет ничего им равного по артистичности переживания Италии, по познаниям и изящности исполнения. Идут эти книги в тон и с той полосой русского духовного развития, когда культура наша в некоем недолгом “ренессансе” или “серебряном веке” выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала XX-го».

Сам Муратов в предисловии к своим «Образам» писал: «Эта книга является опытом изображения Италии: ее городов и пейзажей, её исторического и художественного гения. Удержанные здесь обра-

зы Италии можно назвать также воспоминаниями. Италия с особенной силой пробуждает в душе каждого способность воспоминаний. Дни, прожитые там, не исчезают бесследно, и прошлое отдельного существования выступает отчётливее на фоне неумирающего прошлого... Италия принадлежит к великим темам, не устающим привлекать мысль и воображение различных людей и сменяющихся поколений. Это целый мир, и каждый, кто вступает в него, проходит в нём отдельной дорогой».

Перед самой первой мировой войной, в мае-июле 1914 г., Муратов тоже был в Италии. С большим трудом, через Венецию, морским путем возвратился в Россию, где был сразу же призван в действующую армию. Служил офицером в гаубичной батарее на австрийском фронте; затем был переведен на Кавказ. С весны 1915 г. отвечал за воздушную оборону Севастополя, военным комендантом которого был его брат.

После большевистской революции, весной 1918 г., П.П. Муратов стал одним из организаторов Института итальянской культуры – «Studio Italiano», который просуществовал в Москве около пяти лет. Был членом Комитета помощи голодающим (Помгола), арестовывался ЧК. В начале 1922 г., как сотрудник отдела по делам музеев и охраны памятников искусства Наркомата просвещения, Муратов, вместе с новой семьей, выехал в заграничную командировку, из которой в Россию не вернулся. Его первая жена, Екатерина Владимировна вспоминала: «Патя хотя и не был стар, но был уже со-

всем седой. Какая-то грусть сквозила в нем. Прощаясь со мной, он заплакал и сказал: «Я чувствую, Женюрка (так он меня всегда называл), мы с тобой расстаемся навеки»».

В невольной эмиграции Муратов жил сначала в Германии, потом в Италии. Но любимая некогда земля уже не внушала ему светлых чувств. В феврале 1923 г. он писал из Рима своему другу Илье Остроухову: «Итак, мечта осуществилась. Даже на жизнь не похоже, а на какой-то сладкий и грустный сон. Грустный – потому что я одинок, как не был лет одиннадцать тому назад». Несколько раз Муратов навещал Максима Горького в Сорренто, путешествовал по Италии с его сыном Максимом Пешковым на подаренном тому самим Феликсом Дзержинским мотоцикле. Судя по всему, они проехали тогда и по Амальфитанскому побережью, но сведений об этом путешествии не сохранилось.

В 1927 г. Муратов, отрицательно отнесшийся к режиму Муссолини, уехал из Италии в Париж. А шесть лет спустя, пароход, на котором он плыл в далекую Японию, в дождливую непогоду сделал остановку в порту Неаполя. Итальянская исследовательница творчества Муратова Патриция Деотто попыталась реконструировать его чувства при последнем и окончательном расставании с Италией: «Нет больше того Неаполя, который он когда-то идеализировал. Теперь он увидел его совершенно иным: ночью, равнодушно удаляясь от Сорренто и Капри, от земли, которую он теперь воспринимал лишь как грустное воспоминание счастливых

дней своей молодости. Муратов спрашивал себя: можно ли осветить этот мрачный ночной пейзаж солнцем прежних лет, можно ли представить в нем фигуры знакомые, лица милые, жизнь, казавшуюся иной, чувства устарелые?» (пер. М. Талалая).

Незадолго до второй мировой войны Павел Павлович Муратов перебрался в Англию, где пережил налеты немецкой авиации на Лондон. Он умер в 1950 г. в Ирландии, в местечке Уотерфорд, в имении своего друга – дублинского коллекционера икон, историка и журналиста В. Аллена и был похоронен на местном кладбище.

В некрологе, опубликованном в парижском журнале «Возрождение», архимандрит Киприан (Керн) написал, что литературно-художественное творчество Павла Муратова – это «одно из свидетельств великого прошлого России, один из последних лучей ее безвременного заката». По мнению автора, вышедшая незадолго до катастрофы первой мировой войны книга Муратова «Образы Италии» «явилась каким-то прощальным приветом той неповторимой нашей просвещенности и утонченности, по которой мы были настоящими европейцами... Это ответ человечества творящего на повеление Сотворившего».

## **ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН**

Бунин Иван Алексеевич (22.10.1870, Воронеж – 8.11.1953, Париж) – прозаик, поэт, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1933).

В 1904 г. Бунин в первый раз побывал в Италии – во Флоренции и Венеции. В Южную Италию впервые приехал весной 1909 г. вместе со второй женой – Верой Николаевной (урожденной Муромцевой), выпускницей московских Высших женских курсов, племянницей председателя Первой Государственной думы С.А. Муромцева. Тогда Бунины, выехав из Одессы, побывали в Вене и Инсбруке, а затем переправились через альпийский перевал Бреннен в Италию, посетили Верону, Венецию, Рим и Неаполь, где остановились в гостинице «Victoria» на набережной залива.

В своих мемуарах «Беседы с памятью» В.Н. Бунина вспоминала: «Ян <Иван Бунин> не любил предварительных планов; он намечал страну, оставившись там, где его что-либо привлекало, пропуская иной раз то, что все осматривают, и обращая внимание на то, что большинство не видит... Мы съездили в Сорренто и чуть не сняли комнаты». В конце марта 1909 г. Бунины сели однажды утром на пароходик, следующий на остров Капри, чтобы коротко навестить жившего там Максима Горького. Капри настолько понравился обоим, что Бунины потом приезжали туда регулярно. Центром

«бунинского Капри» стал отель «Quisisana» – здесь будущий нобелевский лауреат по литературе провел с 1911 по 1914 гг. три плодотворнейшие писательские зимы. В интервью одной из московских газет Бунин рассказал однажды о том, почему ему особенно хорошо работается на Капри: «К этому там располагает тамошняя жизнь. На этой скале, торчащей среди синего моря и голубого прозрачного неба, много уюта, простоты, нет сутолоки, шума, а я все это очень ценю». Бунин очень любил Италию, которая, как он говорил, «вошла в его сердце», и, возвращаясь туда, всегда приговаривал: «Домой, домой, в Вязьму, в Вязьму!».

В истории русской литературы так и осталось загадкой, как умел Бунин, живя в дорогом отеле с видом на Неаполитанский залив, писать столь «тяжелые рассказы» из русской жизни. В 1947 г. известный русский писатель-эмигрант Марк Алданов, пытаясь проникнуть в тайну этого парадокса, прямо спрашивал об этом в письме к Бунину: «Но какой вы (по крайней мере, тогда были) мрачный писатель! Я ничего безотраднее вашей “Хорошей жизни” не помню в русской литературе... Да, дорогой друг, не много есть в русской классической литературе писателей, равных вам по силе. А по знанию того, о чем вы пишете, и вообще нет равных; конечно, язык “Записок охотника” или чеховских “Мужиков” не так хорош, как ваш народный язык... Нет ничего правдивее того, что вами описано. Как вы все это писали по памяти иногда на Капри, я просто не понимаю... Были ли у вас запис-

ные книжки? Записывали ли вы отдельные народные выражения (есть истинно чудесные, отчасти и по неожиданности, которой нет ни у Тургенева, ни у Лескова)».

Бунин тогда ответил Алданову: «Что иногда, да даже и частенько, я “мрачен”, это правда, но ведь не всегда, не всегда... Только я не понимаю, чему вы дивитесь. Как я все это помню? Да это не память. Разве это память у вас, когда вам приходится говорить, например, по-французски? Это в вашем естестве. Так и это в моем естестве – и пейзаж, и язык и все прочее... И клянусь вам: никогда я ничего не записывал... Клянусь, что девять десятых этого не с природы, а из вымыслов: лежишь, например, читаешь – и вдруг ни с того ни с сего представишь себе что-нибудь, до дикости не связанное с тем, что читаешь, и вообще со всем, что кругом». Амальфитанское побережье Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины с восторгом наблюдали в апреле 1909 г., когда плавали из Неаполя на Сицилию; затем были путешествия 1910 г.: сначала в апреле, когда Бунины возвращались из Северной Африки через Сицилию в Неаполь, а потом в мае, когда они плыли из Неаполя – через Мессинский пролив – в Грецию и далее в Одессу.

В марте 1912 г. Бунины снова проплывали Амальфи, когда из Неаполя – опять минуя Сицилию – плыли в Бриндизи и далее через Грецию в Одессу. В январе 1914 г. И.А. Бунин, наконец, побывал в Амальфи, ранее неоднократно виденный лишь с корабля. 23 января он, вместе с племян-

ником Николаем Алексеевичем Пушечниковым (1882–1939), известным переводчиком Тагора, Голсуорси, Джека Лондона, часто сопровождавшим Буниных в путешествиях, приехал из Неаполя в Салерно, где ему особенно запомнился Собор Св. Матфея: «Удивительный собор. Пегий-белый и черно-сизый мрамор – совсем Дамаск». На следующий день путешественники переправились в Амальфи, где остановились на ночь в отеле «Convento Carruccini», расположенном в комплексе бывшего капуцинского монастыря. Бунин записал тогда в дневнике: «Ночевали в древнем монастырском здании – там теперь гостиница. Чудесная лунная ночь. Необыкновенно хорошо...».

25 января Бунин и Пушечников отправились из Амальфи на мулах через перевал на соррентийский берег и уже оттуда пароходом вернулись на Капри. В конце марта 1914 г. Бунины покинули Южную Италию и вернулись в Россию.

## **ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ**

Набоков Владимир Владимирович (10.04.1889, Санкт-Петербург – 2.07.1977, Монтре, Швейцария) – писатель, переводчик, литературовед, ученый-энтомолог. Неоднократно бывал с женой Верой Евсеевной, урожденной Слоним (1902-1991) в Италии, где жил и работал их сын Дмитрий.

Весной 1966 г. Набоковы в очередной раз прилетели из Америки в Милан для встречи с сыном и поселились, как обычно, в отеле «Principe di Savoia». Побывали в Монце, Болонье, Флоренции, а затем отправились в Неаполь. Владимир Владимирович писал тогда книгу (она вышла в 1969 г. под названием «Ада, или эротиада: семейные хроники»), и его влекли Помпеи, где он, по словам жены, «особенно желал увидеть эротические фрески в древнем борделе-лупанарии», которые собирался использовать как материал для «Ады».

7 мая 1966 г. Вера Евсеевна повезла Набокова по извилистой горной дороге в Амальфи, где они на две недели поселились в отеле «Convento Carruccini», расположенном в бывшем комплексе капуцинского монастыря. Восторгаясь городом, Набоков довольно прохладно отнесся к самой гостинице: ее положение на отвесной скале над Амальфи не позволяло ему в полной мере предаться любимому делу – ловле экзотических бабочек. Набоковы тогда совершили несколько поездок

по амальфитанскому побережью, посетив в том числе Атрани и Равелло.

В середине мая Набоковы уехали из Амальфи в Неаполь, где Владимир Владимирович увлекся экспозицией Национального музея: мотив знаменитой стабианской фрески с изображением девушки, рассыпающей цветы, вошел затем в первую главу «Ады». Конец мая и весь июнь Набоковы провели в тосканском курортном городке Чианчиано-Терме, где Набоков в полной мере отдался охоте за бабочками. Когда стало совсем жарко, они с Верой двинулись дальше на север и провели день в Парме: эскизы Пармиджанино для свода Санта Мария-делла-Стекката вошли во вторую главу «Ады». Потом переехали в Понте-ди-Леньо, небольшой курорт в итальянских Альпах, недалеко от границы с Австрией и Швейцарией. Здесь они прожили, несмотря на переменчивую погоду, почти два месяца в «Grand Hotel Paradiso», и Набоков «прилежно ловил бабочек, как только прекращался дождь и пробивались лучики солнца...».

Последние годы жизни Набоковы провели главным образом в Швейцарии. Там они, прожившие вместе более полувека, и скончались: Владимир Владимирович летом 1977-го, а Вера Евсеевна – весной 1991-го.

**Алексей Алексеевич Кара-Мурза**

***Знаменитые русские в Амальфи***

*Научно-популярное издание*

Печатается в авторской редакции

ISBN 978-5-93121-323-1



Издательство ООО «ПКЦ Альтекс»  
Издательская лицензия ЛР №065802 от 09.04.98

Подписано в печать 11.10.2012.  
Формат 60x90 1/16. П.л. 8,75. Гарнитура «PragmaticaС».  
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 468.

Отпечатано в типографии ООО «Мультипринт»  
121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29  
тел.: 585-79-64, 998-71-71,  
e-mail: multiprint@mail.ru